Завтра была война…

Борис Львович Васильев

Аннотация
Борис Васильев. Завтра была война…
Пролог
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Эпилог

Аннотация

«Я, Васильев Борис Львович, родился 21 мая 1924 года в семье командира Красной Армии в городе Смоленске…» — это начальные строки автобиографии.

«Борис Васильев, как миллионы его сверстников, прежде чем стать кем-нибудь, стал солдатом…» — это из критических предисловий/послесловий, комментирующих прозу популярного в России и за рубежом автора. И то и другое — правда. Правда — это, пожалуй, и есть главное в том, чему служит Б. Васильев в литературе.

Борис Васильев
Завтра была война...

Пролог

От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись; иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время.

На фотографии мы были 7 «Б». После экзаменов Искра Полякова потащила нас в фотоателье на проспекте Революции: она вообще любила проворачивать всяческие мероприятия.

— Мы сфотографируемся после седьмого, а потом после десятого, — ораторствовала она. — Представляете, как будет интересно рассматривать фотографии, когда мы станем старенькими бабушками и дедушками!

Мы набились в тесный «предбанник»; перед нами спешили увековечиться три молодые па-

ры, старушка с внучатами и отделение чубатых донцов. Они сидели в ряд, одинаково картинно опираясь о шашки, и в упор разглядывали наших девочек бесстыжими казачьими глазами. Искре это не понравилось; она тут же договорилась, что нас позовут, когда подойдет очередь, и увела весь класс в соседний сквер. И там, чтобы мы не разбежались, не подрались или, не дай бог, не потоптали газонов, объявила себя Пифией. Лена завязала ей глаза, и Искра начала вещать. Она была щедрой пророчицей: каждого ожидала куча детей и вагон счастья.

— Ты подаришь людям новое лекарство.

— Твой третий сын будет гениальным поэтом.

— Ты построишь самый красивый в мире Дворец пионеров.

Да, это были прекрасные предсказания. Жаль только, что посетить фотоателье второй раз нам не пришлось, дедушками стали всего двое, да и бабушек оказалось куда меньше, чем девочек на фотографии 7 «Б». Когда мы однажды пришли на традиционный сбор школы, весь наш класс уместился в одном ряду. Из сорока пяти человек, закончивших когда-то 7 «Б», до седых волос дожило девятнадцать. Выяснив это, мы больше не появлялись на традиционных сборах, где так

шумно гремела музыка и так весело встречались те, кто был младше нас. Они громко говорили, пели, смеялись, а нам хотелось молчать. А если и говорить, то…

— Ну как твой осколок? Все еще лезет?

— Лезет, проклятый. Частями.

— Значит, одна двоих вырастила?

— Бабы, как выяснилось, существа двужильные.

— Сердце, братцы, что-то того.

— Толстеешь, вот и того.

— Ты бы протез смазал, что ли. Скрипит, спасу нет.

— А ведь мы — самое малочисленное поколение земли.

— Это заметно. Особенно нам, матерям-одиночкам.

— Поколение, не знавшее юности, не узнает и старости. Любопытная деталь?

— Главное, оптимистичная.

— Может, помолчим? Тошно вас слушать…

С соседних рядов доносилось радостное: «А помнишь? Помнишь?», а мы не могли вспоминать вслух. Мы вспоминали про себя, и поэтому так часто над нашим рядом повисало согласное молчание.

Мне почему-то и сейчас не хочется вспоминать, как мы убегали с уроков, курили в котельной и устраивали толкотню в раздевалке, чтобы хоть на миг прикоснуться к той, которую любили настолько тайно, что не признавались в этом самим себе. Я часами смотрю на выцветшую фотографию, на уже расплывшиеся лица тех, кого нет на этой земле: я хочу понять. Ведь никто же не хотел умирать, правда?

А мы и не знали, что за порогом нашего класса дежурила смерть. Мы были молоды, а незнания молодости восполняются верой в собственное бессмертие. Но из всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографии, в живых осталось четверо.

Как молоды мы были.

Наша компания тогда была небольшой: три девочки и трое ребят — я, Пашка Остапчук да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зиночки была отдельная комната, родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, дружила с Леночкой Боковой; мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались «надеждой школы», а увалень Александров был признанным изобретателем. Пашка числился влюбленным в Леночку, я

безнадежно вздыхал по Зине Коваленко, а Валька увлекался только собственными идеями, равно как Искра собственной деятельностью. Мы ходили в кино, читали вслух те книги, которые Искра объявляла достойными, делали вместе уроки и — болтали. О книгах и фильмах, о друзьях и недругах, о дрейфе «Седова», об интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе и просто так, ни о чем.

Иногда в нашей компании появлялись еще двое. Одного мы встречали приветливо, а второго откровенно не любили.

В каждом классе есть свой тихий отличник, над которым все потешаются, но которого чтут как достопримечательность и решительно защищают от нападок посторонних. У нас того тихаря звали Вовиком Храмовым: чуть ли не в первом классе он объявил, что зовут его не Владимиром и даже не Вовой, а именно Вовиком, да так Вовиком и остался. Приятелей у него не было, друзей тем более, и он любил «прислониться» к нам. Придет, сядет в уголке и сидит весь вечер, не раскрывая рта, — одни уши торчат выше головы. Он стригся под машинку и поэтому обладал особо выразительными ушами. Вовик прочитал уйму книг и умел решать самые заковыристые задачи;

мы уважали его за эти качества и за то, что его присутствие никому не мешало.

А вот Сашку Стамескина, которого иногда притаскивала Искра, мы не жаловали. Он был из отпетой компании, ругался как ломовой. Но Искре вздумалось его перевоспитывать, и Сашка стал появляться не только в подворотнях. А мы с Пашкой так часто дрались с ним и с его приятелями, что забыть этого уже не могли: у меня, например, сам собой начинал ныть выбитый лично им зуб, когда я обнаруживал Сашку на горизонте. Тут уж не до приятельских улыбок, но Искра сказала, что будет так, и мы терпели.

Зиночкины родители поощряли наши сборища. Семья у них была с девичьим уклоном. Зиночка родилась последней, сестры ее уже вышли замуж и покинули отчий кров. В семье главной была мама: выяснив численный перевес, папа быстро сдал позиции. Мы редко видели его, поскольку возвращался он обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал в Зиночкнну комнату и всегда приятно удивлялся:

— А, молодежь? Здравствуйте, здравствуйте. Ну, что новенького?

Насчет новенького специалистом была Искра.

Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.

— Как вы рассматриваете заключение Договора о ненападении с фашистской Германией?

Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами, я виновато улыбался. Мы с Пашкой считали, что он навеки запуган прекрасной половиной человечества. Правда, Искра чаще всего задавала вопросы, ответы на которые знала назубок.

— Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.

— Правильно, — говорил Зинин папа. — Это ты верно рассудила. А вот у нас сегодня случай был: заготовки подали не той марки стали…

Жизнь цеха была ему близка и понятна, и он говорил о ней совсем не так, как о политике. Он размахивал руками, смеялся и сердился, вставал и бегал по комнате, наступая нам на ноги. Но мы не любили слушать его цеховые новости: нас куда больше интересовали спорт, авиация и кино. А Зинин папа всю жизнь точил какие-то железные болванки; мы слушали с жестоким юношеским равнодушием. Папа рано или поздно улавливал его и смущался.

— Ну, это мелочь, конечно. Надо шире смотреть, я понимаю.

— Какой-то он у меня безответный, — сокрушалась Зина. — Никак не могу его перевоспитать, прямо беда.

— Родимые пятна, — авторитетно рассуждала Искра. — Люди, которые родились при ужасающем гнете царизма, очень долго ощущают в себе скованность воли и страх перед будущим.

Искра умела объяснять, а Зиночка — слушать. Она каждого слушала по-разному, но зато всем существом, словно не только слышала, но и видела, осязала и обоняла одновременно. Она была очень любопытна и чересчур общительна, почему ее не все и не всегда посвящали в свои секреты, но любили бывать в их семье с девичьим уклоном.

Наверное, поэтому здесь было по-особому уютно, по-особому приветливо и по-особому тихо. Папа и мама разговаривали негромко, поскольку кричать было не на кого. Здесь вечно что-то стирали и крахмалили, чистили и вытряхивали, жарили и парили и непременно пекли пироги. Они были из дешевой темной муки; я до сих пор помню их вкус и до сих пор убежден, что никогда не ел ничего вкуснее этих пирогов с картошкой. Мы пили чай с дешевыми карамельками, лопали

пироги и болтали. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести.

— А если я к водопроводному крану примусную горелку присобачу?

— Чтобы чай был с керосином?

— Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода станет горячей.

— Ну, собачь, — соглашалась Зина.

Валька что-то пристраивал, грохотал, дырявил стены и гнул трубу. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея.

— У Эдисона тоже не все получалось.

— Может, мне Вальку разок за уши поднять? — предлагал Пашка. — Эдисона один раз подняли, и он сразу стал великим изобретателем.

Пашка и вправду мог поднять Вальку за уши: он был очень силен. Влезал по канату, согнув ноги пистолетом, делал стояку на руках и лихо вертел на турнике «солнце». Это требовало усиленных тренировок, и книг Пашка не читал, но любил слушать, когда их читали другие. А так как чаще всего читала Лена Бокова, то Пашка слушал не столько ушами, сколько глазами, он начал дружить с Леной еще с пятого класса и был постоянен в своих симпатиях и занятиях. Искра

тоже неплохо читала, но уж очень любила растолковывать прочитанное, и мы предпочитали Лену, если предполагалось читать нечто особенно интересное. А читали мы тогда много, потому что телевизоров еще не изобрели и даже дешевое дневное кино было нам не по карману.

А еще мы с детства играли в то, чем жили сами. Классы соревновались не за отметки или проценты, а за честь написать письмо папанинцам или именоваться «чкаловским», за право побывать на открытии нового цеха завода или выделить делегацию для встречи испанских детей.

Я попал однажды в такую делегацию, потому что победил на стометровке, а Искра — как круглая отличница и общественница. Мы принесли с этой встречи ненависть к фашизму, переполненные сердца и по четыре апельсина. И торжественно съели эти апельсины всем классом: каждому досталось по полторы дольки и немножко кожуры. И я сегодня помню особый запах этих апельсинов.

И еще я помню, как горевал, что не смогу помочь челюскинцам, потому что мой самолет совершил вынужденную посадку где-то в Якутии, так и не долетев до ледового лагеря. Самую настоящую посадку: я получил «плохо», не выучив

стихотворения. Потом-то я его выучил: «Да, были люди в наше время...» А дело заключалось в том, что на стене класса висела огромная самодельная карта и каждый ученик имел свой собственный самолет. Отличная оценка давала пятьсот километров, но я получил «плохо», и мой самолет был снят с полета. И «плохо» было не просто в школьном журнале: плохо было мне самому и немного — чуть-чуть! — челюскинцам, которых я так подвел.

А карту выдумала Искра.

Улыбнись мне, товарищ. Я забыл, как ты улыбался, извини. Я теперь намного старше тебя, у меня масса дел, я оброс хлопотами, как корабль ракушками. По ночам я все чаще и чаще слышу всхлипы собственного сердца: оно уморилось. Устало болеть.

Я стал седым, и мне порой уступают место в общественном транспорте. Уступают юноши и девушки, очень похожие на вас, ребята. И тогда я думаю, что не дай им Бог повторить вашу судьбу. А если это все же случится, то дай им Бог стать такими же.

Между вами, вчерашними, и ими, сегодняшними, лежит не просто поколение. Мы твердо знали, что будет война, а они убеждены, что ее не

будет. И это прекрасно: они свободнее нас. Жаль только, что свобода эта порой оборачивается безмятежностью…

В девятом классе Валентина Андроновна предложила нам тему свободного сочинения «Кем я хочу стать?». И все ребята написали, что они хотят стать командирами Красной Армии. Даже Вовик Храмов пожелал быть танкистом, чем вызвал бурю восторга. Да, мы искренне хотели, чтобы судьба наша была суровой. Мы сами избирали ее, мечтая об армии, авиации и флоте: мы считали себя мужчинами, а более мужских профессий тогда не существовало.

В этом смысле мне повезло. Я догнал в росте своего отца уже в восьмом классе, а поскольку он был кадровым командиром Красной Армии, то его старая форма перешла ко мне. Гимнастерка и галифе, сапоги и командирский ремень, шинель и буденовка из темно-серого сукна. Я надел эти прекрасные вещи в один замечательный день и не снимал их целых пятнадцать лет. Пока не демобилизовался. Форма тогда уже была иной, но содержание ее не изменилось: она по-прежнему осталась одеждой моего поколения. Самой красивой и самой модной.

Мне люто завидовали все ребята. И даже Искра

Полякова.

— Конечно, она мне немного велика, — сказала Искра, примерив мою гимнастерку. — Но до чего же в ней уютно. Особенно, если потуже затянуться ремнем.

Я часто вспоминаю эти слова, потому что в них — ощущение времени. Мы все стремились затянуться потуже, точно каждое мгновение нас ожидал строй, точно от одного нашего вида зависела готовность этого общего строя к боям и победам. Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. Мы не знали, что подвиг надо сначала посеять и вырастить. Что зреет он медленно, незримо наливаясь силой, чтобы однажды взорваться ослепительным пламенем, сполохи которого еще долго светят грядущим поколениям. Мы не знали, но это знали наши отцы и матери, прошедшие яростный огонь революции.

Кажется, ни у кого из нас не было в доме ванной. Впрочем, нет, одна квартира была с ванной, но об этом после. Мы ходили в баню обычно втроем: я, Валька и Пашка. Пашка драил наши спины отчаянно жесткой мочалкой, а потом долго блаженствовал в парной. Он требовал невыносимого жара, мы с Валькой поддавали этот жар, но сами

сидели внизу. А Пашка издевался над нами с самой верхней полки.

— Здравствуйте, молодежь.

Как-то в парную, стыдливо прикрываясь шайкой, бочком проскользнул Андрей Иванович Коваленко — отец Зиночки. В голом виде он был еще мельче, еще неказистее.

— Жарковато у вас.

— Да разве это жар? — презрительно заорал сверху Пашка. — Это же субтропики! Это же Анапа сплошная! А ну, Валька, поддай еще!

— Борькина очередь, — объявил Валька. — Борька, поддай.

— Стоит ли? — робко спросил Коваленко.

— Стоит! — отрезал я. — Пар костей не ломит.

— Это кому как, — тихо улыбнулся Андрей Иванович.

И тут я шарахнул полную шайку на каменку. Пар взорвался с треском. Пашка восторженно взвыл, а Коваленко вздохнул. Постоял немного, подумал, взял свою шайку, повернулся и вышел.

Повернулся…

Я и сейчас помню эту исколотую штыками, исполосованную ножами и шашками спину в сплошных узловатых шрамах. Там не было живого места — все занимал этот сине-багровый

автограф гражданской войны.

А вот мать Искры вышла из той же гражданской иной. Не знаю, были ли у нее шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Такие же, как на спине у отца Зиночки.

Мать Искры — я забыл, как ее звали, и теперь уже никто не напомнит мне этого — часто выступала в школах, техникумах, в колхозах и на заводах. Говорила резко и коротко, точно командуя, и мы ее побаивались.

— Революция продолжается, запомните. И будет продолжаться, пока мы не сломим сопротивление классовых врагов. Готовьтесь к борьбе. Суровой и беспощадной.

А может, все это мне только кажется? Я старею, с каждым днем все дальше отступая от того времени, и уже не сама действительность, а лишь представление о ней сегодня властвует надо мной. Может быть, но я хочу избежать того, что диктует мне возраст. Я хочу вернуться в те дни, стать молодым и наивным…

Глава первая

— Ясненько-ясненько-прекрасненько! — прокричала Зиночка, не дослушав материнских наставлений.

Она торопилась закрыть дверь и накинуть крючок, а мать, как всегда, застряла на пороге с последними указаниями. Постирать, погладить, почистить, прокипятить, подмести. Ужас сколько всего она придумывала каждый раз, когда уходила на работу. Обычно Зиночка терпеливо выслушивала ее, но именно сегодня мама непозволительно медлила, а идея, возникшая в Зиночкиной голове, требовала действия, поскольку была неожиданной и, как подозревала Зина, почти преступной.

Сегодня утром во сне Зиночка увидела себя на берегу речки. Этим летом она впервые поехала в лагерь не обычной девочкой, а помощником вожатой, переполненная ощущением ответственности. Она все лето так строго сдвигала колючие бровки, что на переносице осталась белая вертикальная складочка. И Зиночка очень гордилась ею.

Но увидела она себя не с пионерами, ради которых и приходилось сдвигать брови, а со взрослыми: с вожатыми отрядов, преподавателями и другими начальниками. Они загорали на песке, а Зиночка еще плескалась, потому что очень любила барахтаться на мелководье. Потом на нее прикрикнули, и Зиночка пошла к берегу, так как еще не разучилась слушаться старших.

Уже выходя на берег, она почувствовала взгляд: пристальный, оценивающий, мужской. Зиночка смутилась, крепко прижала руки к мокрой груди и постаралась поскорее упасть на песок. А в сладком полусне ей представилось, что там, на берегу, она была без купальника. Сердце на мгновение екнуло, но глаз Зиночка так и не открыла, потому что страх не был пугающим. Это был какой-то иной страх, на который хотелось посмотреть. И она торопила маму, пугаясь не страха, а решения заглянуть в него. Решения, которое боролось в ней со стыдом, и Зиночка еще не была уверена, кто кого переборет.

Накинув крючок на входную дверь, Зиночка бросилась в комнату и первым делом старательно задернула занавески. А потом в лихорадочной спешке стала срывать с себя одежду, кидая ее куда попало: халатик, рубашку, лифчик, трусики…

Она лишь взялась за них, оттянула резинку и тут же отпустила — резинка туго щелкнула по смуглому животу, и Зиночка опомнилась. Постояла, ожидая, когда уймется застучавшее сердце, и тихонечко пошла к большому маминому зеркалу. Она приближалась к нему как к бездне: чувствуя каждый шаг и не решаясь взглянуть. И, только оказавшись перед зеркалом, подняла глаза.

В свинцовом зеркальном холодке отразилась смуглая маленькая девушка с круглыми от преступного любопытства, блестящими, как вишенки, глазами. Вся она казалась шоколадной, и лишь не по росточку крупная грудь да полоски от бретелек были неправдоподобно белыми, словно не принадлежавшими этому телу. Зиночка впервые сознательно разглядывала себя как бы со стороны, любовалась и одновременно пугалась того, что казалось ей уже созревшим. Но созревшей была только грудь, а бедра никак не хотели наливаться, и Зиночка сердито похлопала по ним руками. Однако бедра еще можно было терпеть: все-таки они хоть чуточку да раздались за лето, и талия уже образовалась. А вот ноги огорчали всерьез: они сбегали каким-то конусом, несоразмерно утончаясь к щиколоткам. И икры еще были плоскими, и коленки еще не округли-

лись и торчали, как у девчонки-пятиклашки. Все выглядело просто отвратительно, и Зиночка с беспокойством подозревала, что природа ей тут не поможет. И вообще все счастливые девочки жили в прошлом веке, потому что тогда носили длинные платья.

Зиночка осторожно приподняла грудь, словно взвешивая: да, это уже было взрослым, полным будущих ожиданий. Значит, такая она будет — кругленькая, тугая, упругая. Конечно, хорошо бы еще подрасти, хоть немного; Зина вытянулась на цыпочках, прикидывая, какой она станет, когда наконец подрастет, и, в общем, осталась довольна. «Подождите, вы еще не так будете на меня смотреть!» — самодовольно подумала она и потанцевала перед зеркалом, мысленно напевая модное «Утомленное солнце».

И тут ворвался звонок. Он ворвался так неожиданно, что Зиночка сначала ринулась к дверям, как вертелась перед зеркалом. Потом метнулась назад, торопливо, кое-как напялила разбросанную одежду и вернулась в прихожую, на ходу застегивая халатик.

— Кто там?

— Это я, Зиночка.

— Искра? — Зина сбросила крючок. — Знала

бы, что это ты, сразу бы открыла. Я думала…

— Саша из школы ушел.

— Как ушел?

— Совсем. Ты же знаешь, у него только мама. А теперь за ученье надо платить, вот он и ушел.

— Вот ужас-то! — Зина горестно вздохнула и примолкла.

Она побаивалась Искорку, хотя была почти на год старше. Очень любила ее, в меру слушалась и всегда побаивалась той напористости, с которой Искра решала все дела и за себя и за нее и вообще за всех, кто, по ее мнению, в этом нуждался.

Мама Искры до сих пор носила потертую чоновскую кожанку, сапоги и широкий ремень, оставлявший после удара жгучие красные полосы. Про эти полосы Искра никому никогда не говорила, потому что стыд был больнее. И еще потому, что лишь она одна знала: ее резкая, крутая, несгибаемая мать была глубоко несчастной и, в сущности, одинокой женщиной. Искра очень жалела и очень любила ее.

Три года назад сделала она это страшное открытие: мама несчастна и одинока. Сделала случайно, проснувшись среди ночи и услышав глухие, стонущие рыдания. В комнате было темно, только из-за шкафа, что отделял Искоркину

кровать, виднелась полоска света. Искра выскользнула из-под одеяла, осторожно выглянула. И обмерла. Мать, согнувшись и зажав голову руками, раскачивалась перед столом, на котором горела настольная лампа, прикрытая газетой.

— Мамочка, что случилось? Что с тобой, мамочка?

Искра рванулась к матери, а мать медленно встала ей навстречу, и глаза у нее были мертвые. Потом побелела, затряслась и впервые сорвала с себя солдатский ремень.

— Подглядывать? Подслушивать?..

Такой Искра навсегда запомнила маму, а вот папу не помнила совсем: он наградил ее необыкновенным именем и исчез еще в далеком детстве. И мама сожгла в печке все фотографии с привычной беспощадностью.

— Он оказался слабым человеком, Искра. А ведь был когда-то комиссаром!

Слово «комиссар» для мамы решало все. В этом понятии заключался ее символ веры, символ чести и символ ее юности. Слабость была антиподом этого вечно юного и яростного слова, и Искра презирала слабость пуще предательства.

Мама была для Искры не просто примером и даже не образцом. Мама была идеалом, который

предстояло достичь. С одной, правда, поправкой: Искра очень надеялась стать более счастливой.

В классе подружек любили. Но если Зиночку просто любили и быстро прощали, то Искру не только любили, но слушали. Слушали все, но зато ничего не прощали. Искра всегда помнила об этом и немного гордилась, хотя оставаться совестью класса было порой нелегко.

Вот Искорка ни за что на свете не стала бы танцевать перед зеркалом в одних трусиках. И когда Зиночка подумала об этом, то сразу начала краснеть, пугаться, что Искра заметит ее внезапный румянец, и от этого краснела еще неудержимее. И вся эта внутренняя борьба настолько занимала ее, что она уже не слушала подругу, а только краснела.

— Что ты натворила? — вдруг строго спросила Искра.

— Я? — Зиночка изобразила крайнее удивление. — Да что ты! Я ничего не натворила.

— Не смей врать. Я прекрасно знаю, когда ты краснеешь.

— А я не знаю, когда я краснею. Я просто так краснею, вот и все. Наверное, я многокровная.

— Ты полоумная, — сердито сказала Искра. — Лучше признайся сразу, тебе же будет легче.

— А! — Зиночка безнадежно махнула рукой. — Просто я пропадушка.

— Кто ты?

— Пропадушка. Пропащий человек женского рода. Неужели не понятно?

— Болтушка, — улыбнулась Искра. — Разве можно с тобой серьезно разговаривать?

Зиночка знала, чем отвести подозрения. Правда, «знать» — глагол, трудно применимый к Зине, здесь лучше подходил глагол «чувствовать». Так вот, Зиночка чувствовала, когда и как смягчить суровую подозрительность подруги. И действовала хотя и интуитивно, но почти всегда безошибочно.

— Представляешь, Саша — с его-то способностями! — не закончит школу. Ты соображаешь, какая это потеря для всех нас, а может быть, даже для всей страны! Он же мог стать конструктором самолетов. Ты видела, какие он делал модели?

— А почему Саша не хочет пойти в авиационную спецшколу?

— А потому что у него уши! — отрезала Искра. — Он застудил в детстве уши, и теперь его не принимает медкомиссия.

— Все-то ты знаешь, — не без ехидства заметила Зиночка. — И про модели, и про уши.

— Нет, не все. — Искра была выше девичьих шпилек. — Я не знаю, что нам делать с Сашей. Может, пойти в райком комсомола?

— Господи, ну при чем тут райком? — вздохнула Зиночка. — Искра, тебе за лето стал тесным лифчик?

— Какой лифчик?

— Обыкновенный. Не испепеляй меня, пожалуйста, взглядом. Просто я хочу знать: все девочки растут вширь или я одна такая уродина?

Искра хотела рассердиться, но сердиться на безмятежную Зиночку было трудно. Да и вопрос, который только она могла задать, был вопросом и для Искры тоже, потому что при всем командирстве ее беспокоили те же шестнадцать лет. Но признаться в таком она не могла даже самой близкой подруге: это была слабость.

— Не тем ты интересуешься, Зинаида, — очень серьезно сказала Искра. — Совершенно не тем, чем должна интересоваться комсомолка.

— Это я сейчас комсомолка. А потом я хочу быть женщиной.

— Как не стыдно! — с гневом воскликнула подруга. — Нет, вы слыхали, ее мечта, оказывается, быть женщиной. Не летчицей, не парашютисткой, не стахановкой, наконец, а женщиной.

Игрушкой в руках мужчины!

— Любимой игрушкой, — улыбнулась Зиночка. — Просто игрушкой я быть не согласна.

— Перестань болтать глупости! — прикрикнула Искра. — Мне противно слушать, потому что все это отвратительно. Это буржуазные пошлости, если хочешь знать.

— Ну, рано или поздно их узнать придется, — резонно заметила Зиночка. — Но ты не волнуйся, и давай лучше говорить о Саше.

О Саше Искра согласна была говорить часами, и никому, даже самым отъявленным сплетницам, не приходило в голову, что «Искра плюс Саша равняется любовь». И не потому, что сама любовь, как явление несвоевременное Искрой гневно отрицалась, а потому, что сам Саша был продуктом целеустремленной деятельности Искры, реально существующим доказательством ее личной силы, настойчивости и воли.

Еще год назад имя Сашки Стамескина склонялось на всех педсоветах, фигурировало во всех отчетах и глазело на мир с черной доски, установленной в вестибюле школы. Сашка воровал уголь из школьной котельной, макал девичьи косы в чернильницы и принципиально не вылезал из «оч. плохо». Дважды его собирались исключить

из школы, но приходила мать, рыдала и обещала, и Сашку оставляли с директорской пометкой «до следующего замечания». Следующее замечание неукротимый Стамескин хватал вслед за уходом матери, все повторялось и к Ноябрьским прошлогодним праздникам достигло апогея. Школа кипела, и Сашка уже считал дни, когда получит долгожданную свободу.

И тут на безмятежном Сашкином горизонте возникла Искра. Появилась она не вдруг, не с бухты-барахты, а вполне продуманно и обоснованно, ибо продуманность и обоснованность были проявлением силы как антипода человеческой слабости. К Ноябрьским Искра подала заявление в комсомол, выучила Устав и все, что следовало выучить, но это было пассивным, сопутствующим фактором, это могла вызубрить любая девчонка. А Искра не желала быть «любой», она была особой и с помощью маминых внушений и маминого примера целеустремленно шла к своему идеалу. Идеалом ее была личность активная, беспокойная, общественная — та личность, которая с детства определялась гордым словом «комиссар». Это была не должность — это было призвание, долг, путеводная звездочка судьбы. И, собираясь на первое комсомольское собрание,

делая первый шаг навстречу своей звезде, Искра добровольно взвалила на себя самое трудное и неблагодарное, что только могла придумать.

— Не надо выгонять из школы Сашу Стамескина, — как всегда звонко и четко, сказала она на своем первом комсомольском собрании. — Перед лицом своих товарищей по Ленинскому комсомолу я торжественно обещаю, что Стамескин станет хорошим учеником, гражданином и даже комсомольцем.

Искре аплодировали, ставили ее в пример, а Искра очень жалела, что на собрании нет мамы. Если бы она была, если бы она слышала, какие слова говорят о ее дочери, то — кто знает! — может быть, она действительно перестала бы знакомым судорожным движением расстегивать широкий солдатский ремень и кричать при этом коротко и зло, будто отстреливаясь:

— Лечь! Юбку на голову! Живо!

Правда, в последний раз это случилось два года назад, в самом начале седьмого класса. Искру тогда так мучительно долго трясло, что мама отпаивала ее водой и даже просила прощения.

— Ненормальная! — кричала после собрания Зиночка. — Нашла кого перевоспитывать! Да он же поколотит тебя. Или… Или знаешь, что может

сделать? То, что сделали с той девочкой в парке, про которую писали в газетах?

Искра гордо улыбалась, снисходительно выслушивая Зиночкины запугивания. Она отлично знала, что делала: она испытывала себя. Это было первое, робкое испытание ее личных «комсомольских» качеств.

На другой день Стамескин в школу не явился, и Искра после уроков пошла к нему домой. Зиночка мужественно вызвалась сопровождать, но Искра пресекла этот порыв:

— Я обещала комсомольскому собранию, что сама справлюсь со Стамескиным. Понимаешь, сама!

Она шла по длинному, темному, пронзительно пропахшему кошками коридору, и сердце ее сжималось от страха. Но она ни на мгновение не допустила мысли, что можно повернуться и уйти, сказав, будто никого не застала дома. Она не умела лгать, даже себе самой.

Стамескин рисовал самолеты. Немыслимые, сказочно гордые самолеты, свечой взмывающие в безоблачное небо. Рисунками был усеян весь стол, а то, что не умещалось, лежало на узкой железной койке. Когда Искра вошла в крохотную комнату с единственным окном, Саша ревниво

прикрыл свои работы, но всего прикрыть не мог и разозлился.

— Чего приперлась?

С чисто женской быстротой Искра оценила обстановку: грязная посуда на табуретке, смятая, заваленная рисунками кровать, кастрюлька на подоконнике, из которой торчала ложка, — все свидетельствовало о том, что Сашкина мать во второй смене и что первое свидание с подшефным состоится с глазу на глаз. Но она не позволила себе струсить и сразу ринулась в атаку на самое слабое Сашкино место, о котором в школе никто не догадывался: на его романтическую влюбленность в авиацию.

— Таких самолетов не бывает.

— Что ты понимаешь! — закричал Сашка, но в тоне его явно послышалась заинтересованность.

Искра невозмутимо сняла шапочку и пальтишко — оно было тесновато, пуговки сдвинуты к самому краю, и это всегда смущало ее — и, привычно оправив платье, пошла прямо к столу. Сашка следил за нею исподлобья, недоверчиво и сердито. Но Искра не желала замечать его взглядов.

— Интересная конструкция, — сказала она. — Но самолет не взлетит.

— Почему это не взлетит? А если взлетит?

— «Если» в авиации понятие запрещенное, — строго произнесла она. — В авиации главное расчет. У тебя явно мала подъемная сила.

— Что? — настороженно переспросил отстающий Стамескин.

— Подъемная сила крыла, — твердо повторила Искра, хотя была совсем не уверена в том, что говорила. — Ты знаешь, отчего она зависит?

Сашка молчал, подавленный эрудицией. До сих пор авиация существовала в его жизни, как существуют птицы: летают, потому что должны летать. Он придумывал свои самолеты, исходя из эстетики, а не из математики: ему нравились формы, которые сами рвались в небо.

Все началось с самолетов, которые не могли взлетать, потому что опирались на фантазии, а не на науку. А Сашка хотел, чтобы они летали, чтобы «горки», «бочки» и «иммельманы» были покорны его самолетам, как его собственное тело было покорно ему, Сашке Стамескину, футболисту и драчуну. А для этого требовался сущий пустяк — расчет. И за этим пустяком Сашка нехотя, криво усмехаясь, пошел в школу.

Но Искре было мало, что Сашка возлюбил математику с физикой, терпел литературу, мыкался

на истории и с видимым отвращением зубрил немецкие слова. Она была трезвой девочкой и ясно представляла срок, когда ее подопечному все надоест и Стамескин вернется в подворотни, к подозрительным компаниям и привычным «оч. плохо». И, не ожидая, пока это наступит, отправилась в районный Дворец пионеров.

— Отстающих не беру, — сказал ей строгий, в очках, руководитель авиамодельного кружка. — Вот пусть сперва…

— Он не простой отстающий, — перебила Искра, хотя перебивать старших было очень невежливо. — Думаете, из одних отличников получаются хорошие люди? А Том Сойер? Так вот. Саша — Том Сойер, правда, он еще не нашел своего клада. Но он найдет его, честное комсомольское, найдет! Только чуть-чуть помогите ему. Пожалуйста, помогите человеку.

— А знаешь, девочка, мне сдается, что он уже нашел свой клад, — улыбнулся руководитель кружка.

Однако Сашка поначалу наотрез отказался идти в заветный авиамодельный кружок. Он боялся, как бы там ему в два счета не доказали, что все его мечты — пустой звук и что он, Сашка Стамескин, сын судомойки с фабрики-кухни и

неизвестного отца, никогда в жизни своей не прикоснется к серебристому дюралю настоящего самолета. Попросту говоря, Сашка не верил в собственные возможности и отчаянно трусил, и Искре пришлось потопать толстыми ножками.

— Ладно, — обреченно вздохнул он. — Только с тобой. А то сбегу.

И они пошли вместе, хотя Искру интересовали совсем не самолеты, а звучный Эдуард Багрицкий. И не просто интересовал — Искра недавно сама начала писать поэму «Дума про комиссара»: «Над рядами полыхает багряное знамя. Комиссары, комиссары, вся страна — за вами!..» Ну и так далее, еще две страницы, а хотелось, чтоб получилось страниц двадцать. Но сейчас главным было авиамоделирование, элероны, фюзеляжи и не вполне понятные подъемные силы. И она не сожалела об отложенной поэме, а гордилась, что наступает на горло собственной песне.

Вот об этом-то, о необходимости подчинения мелких личных слабостей главной цели, о радости преодоления и говорила Искра, когда они шли во Дворец пионеров. И Сашка молчал, терзаемый сомнениями, надеждами и снова сомнениями.

— Человек не может рождаться на свет просто так, ради удовольствий, — втолковывала Искра,

подразумевая под словом «удовольствия» время будущее, а не прошедшее. — Иначе мы должны будем признать, что природа — просто какая-то свалка случайностей, которые не поддаются научному анализу. А признать это — значит, пойти на поводу у природы, стать ее покорными слугами. Можем мы, советская молодежь, это признать? Я тебя спрашиваю, Саша.

— Не можем, — уныло сказал Стамескин.

— Правильно. А это означает, что каждый человек — понимаешь, каждый! — рождается для какой-то определенной цели. И нужно искать свою цель, свое призвание. Нужно научиться отбрасывать все случайное, второстепенное, нужно определить главную задачу жизни…

— Эй, Стамеска!

От подворотни отклеилось трое мальчишек; впрочем, одного можно было бы уже назвать парнем. Двигались они лениво, враскачку, загребая ногами.

— Куда топаешь, Стамеска?

— По делу. — Сашка весь съежился, и Искра мгновенно уловила это.

— Может, подумаешь сперва? — Старший говорил как-то нехотя, будто с трудом отыскивая слова. — Отшей девчонку, разговор есть.

— Назад! — звонко выкрикнула Искра. — Сами катитесь в свои подворотни!

— Что такое? — насмешливо протянул парень.

— Прочь с дороги! — Искра обеими руками толкнула парня в грудь.

От толчка парень лишь чуть покачнулся, но тут же отступил в сторону. Искра схватила растерянного Стамескина за руку и потащила за собой.

— Ну, гляди, бомбовоз! Попадешься нам — наплачешься!

— Не оглядывайся! — прикрикнула Искра, волоча Стамескина. — Они все трусы несчастные.

— Знала бы ты, — вздохнул Сашка.

— Знаю! — отрезала она. — Смел только тот, у кого правда. А у кого нет правды, тот просто нахален, вот и все.

Несмотря на победу, Искра была в большом огорчении. Она каждый день по строгой системе делала зарядку, с упоением играла в баскетбол, очень любила бегать, но пуговки на кофточках приходилось расставлять все чаще, платья трещали по всем швам, а юбки из года в год наливались такой полнотой, что Искра впадала в отчаяние. И глупое словечко «бомбовоз» — да еще сказанное при Сашке! — было для нее во сто крат обиднее любого ругательства.

Сашка враз влюбился и в строгого руководителя, и в легкокрылые планеры, и в само название «авиамодельный кружок». Искра рассчитала точно: теперь Сашке было что терять, и он цеплялся за школу с упорством утопающего. Наступил второй этап, и Искра каждый день ходила к Стамескину не просто делать уроки, но и учить то, что утерялось во дни безмятежной Сашкиной свободы. Это было уже, так сказать, сверх обещанного, сверх программы: Искра последовательно лепила из Сашки Стамескина умозрительно сочиненный идеал.

Через полмесяца после встречи с прежними Сашкиными друзьями Искра вновь столкнулась с ними — уже без Саши, без поддержки и помощи и даже не на улице, где, в конце концов, можно было бы просто заорать, хотя Искра скорее умерла бы, чем позвала на помощь. Она вбежала в темный и гулко пустой подъезд, когда ее вдруг схватили, стиснули, поволокли под лестницу и швырнули на заплеванный цементный пол. Это было так внезапно, стремительно и беззвучно, что Искра успела только скорчиться, согнуться дугой, прижав коленки к груди. Сердечко ее замерло, а спина напряглась в ожидании ударов. Но ее почему-то не били, а мяли, тискали, толкали,

сопя и мешая друг другу. Чьи-то руки стащили шапочку, тянули за косы, стараясь оторвать лицо от коленок, кто-то грубо лез под юбку, щипая за бедра, кто-то протискивался за пазуху. И все это вертелось, сталкивалось, громко дышало, пыхтело, спешило…

Нет, ее совсем не собирались бить, ее намеревались просто ощупать, обмять, обтискать, «полапать», как это называлось у мальчишек. И когда Искра это сообразила, страх ее мгновенно улетучился, а гнев был столь яростен, что она задохнулась от этого гнева. Вонзилась руками в чью-то руку, ногами отбросила того, что лез под юбку, сумела вскочить и через три ступеньки взлететь по лестнице в длинный Сашкин коридор.

Она ворвалась в комнату без стука: красная, растрепанная, в пальтишке с выдранными пуговицами, все еще двумя руками прижимая к груди сумку с учебниками. Ворвалась, закрыла дверь и привалилась к ней спиной, чувствуя, что вот-вот, еще мгновение — и рухнет на пол от безостановочной дрожи в коленках.

Сашкина мать, унылая и худая, жарила картошку на керосинке, а сам Сашка сидел за столом и честно пытался решить задачу. Они молча уста-

вились на Искру, а Искра, старательно улыбаясь, пояснила:

— Меня задержали. Там, внизу. Извините, пожалуйста.

Всем телом оттолкнулась от двери; сделала два шага и рухнула на табурет, отчаянно заплакав от страха, обиды и унижения.

— Да что вы, Искра? — Сашкина мама из уважения обращалась к ней, как ко взрослой. — Да господи, что сделали-то с вами?

— Шапочку стащили, — жалко и растерянно бормотала Искра, упорно улыбаясь и размазывая слезы по крутым щекам. — Мама расстроится, заругает меня за шапочку.

— Да как же это, господи? — плачуще выкрикнула женщина. — Водички выпейте, Искра, водички.

Сашка вылез из-за стола, молча отодвинул суетившуюся мать и вышел.

Вернулся он через полчаса. Положил перед Искрой ее голубую вязаную шапочку, выплюнул в таз вместе с кровью два передних зуба, долго мыл разбитое лицо. Искра уже не плакала, а испуганно следила за ним; он встретил ее взгляд, с трудом улыбнулся:

— Будем заниматься, что ли?

С того дня они всюду ходили вдвоем. В школу и на каток, в кино и на концерты, в читальню и просто так. По улицам. Только вдвоем. Но ни у кого и мысли не возникало позубоскалить на этот счет. Все в школе знали, как Искра умела дружить, но никто, ни один человек — даже Сашка — не знал, как она умела любить. Впрочем, и сама Искра тоже не знала. Все пока называлось дружбой, и ей вполне хватало того, что содержалось в этом слове.

А теперь Сашка Стамескин, положивший столько сил и упорства, чтобы поверить в реальность собственной мечты, догнавший, а кое в чем и перегнавший многих из класса, расставался со школой. И это было не просто несправедливостью — это было крушением всех Искриных надежд. Осознанных и еще не осознанных.

— Может быть, мы соберем ему эти деньги?

— Вот ты — то умная-умная, а то — дура дурой! — Зина всплеснула руками. — Собрать деньги — это ты подумала. А вот возьмет ли он их?

— Возьмет, — не задумываясь, сказала Искра.

— Да, потому что ты заставишь. Ты даже меня можешь заставить съесть пенки от молока, хотя я наверняка знаю, что умру от этих пенок. — Зиноч-

ка с отвращением передернула плечами. — Это же милостынька какая-то, и поэтому ты дура. Дура, вот и все. В смысле неумная женщина.

Искра не любила слово «женщина», и Зиночка сейчас слегка поддразнивала ее. Ситуация была редкой: Искра не знала выхода. А Зина нашла выход и поэтому тихонечко торжествовала. Но долго торжествовать не могла. Она была порывистой и щедрой и всегда выкладывала все, что было на душе.

— Ему нужно устроиться на авиационный завод!

— Ему нужно учиться, — неуверенно сказала Искра.

Но сопротивлялась она уже по инерции, по привычному ощущению, что до сих пор была всегда и во всем права. Решение звонкой подружки оказалось таким простым, что спорить было невозможно. Учиться? Он будет учиться в вечерней школе. Кружок? Смешно: там завод, там не играют в модели, там строят настоящие самолеты, прекрасные, лучшие в мире самолеты, не раз ставившие невероятные рекорды дальности, высоты и скорости. Но сдаться сразу Искра не могла, потому что решение — то решение, при известии о котором Сашины глаза вновь вспыхнут

огоньком, — на этот раз принадлежало не ей.

— Думаешь, это так просто? Это совершенно секретный завод, и туда принимают только очень проверенных людей.

— Сашка шпион?

— Глупая, там же анкеты. А что он напишет в графе «отец»? Что? Даже его собственная мама не знает, кто его отец.

— Что ты говоришь? — В глазах у Зиночки вспыхнуло преступное любопытство.

— Нет, знает, конечно, но не говорит. И Саша напишет в анкете — «не знаю», а там что могут подумать, представляешь?

— Ну, что? Что там могут подумать?

— Что этот отец — враг народа, вот что могут подумать.

— Это Стамескин — враг народа? — Зина весело рассмеялась. — Где это, интересно, ты встречала врагов народа по фамилии Стамескин?

Тут Искре пришлось замолчать. Но, сдав и этот пункт, она по-прежнему уверяла, что устроиться на авиазавод будет очень трудно. Она нарочно пугала, ибо в запасе у нее уже имелся выход: райком комсомола. Всемогущий райком комсомола. И выход этот должен был компенсировать тот укол самолюбию, который нанесла Зина своим

предложением.

Но Зиночка мыслила конкретно и бесплановo, опираясь лишь на интуицию. И эта природная интуиция мгновенно подсказала ей решение:

— А Вика Люберецкая?

Папа Вики Люберецкой был главным инженером авиационного завода. А сама Вика восемь лет просидела с Зиночкой за одной партой. Правда, Искра сторонилась Вики. И потому, что Вика тоже была круглой отличницей, и потому, что немного ревновала ее к Зиночке, и, главное, потому, что Вика держалась всегда чуть покровительственно со всеми девочками и надменно со всеми мальчишками, точно вдовствующая королева. Только Вику подвозила служебная машина; правда, останавливалась она не у школы, а за квартал, и дальше Вика шла пешком, но все равно об этом знали все. Только Вика могла продемонстрировать девочкам шелковое белье из Парижа — предмет мучительной зависти Зиночки и горделивого презрения Искры. Только у Вики была шубка из настоящей сибирской белки, швейцарские часы со светящимся циферблатом и вечная ручка с золотым пером. И все это вместе определяло Вику как существо из другого мира, к которому Искра с детства питала ироническое

сожаление.

Они соперничали даже в прическах. И если Искра упорно носила две косячки за ушами, а Зина — короткую стрижку, как большинство девочек их класса, то у Вики была самая настоящая прическа, какую делают в парикмахерских.

И еще Вика была красивой. Не миленькой толстушкой, как Искорка, не хорошеньким бесенком, как Зиночка, а вполне сложившейся, спокойной, уверенной в себе и своем обаянии девушкой с большими серыми глазами. И взгляд этих глаз был необычен: он словно проникал сквозь собеседника в какую-то видимую только Вике даль, и даль эта была прекрасна, потому что Вика всегда ей улыбалась.

У Искры и Зины были разные точки зрения на красоту. Искра признавала красоту, запечатленную раз и навсегда на полотнах, в книгах, в музыке или в скульптуре, а от жизни требовала лишь красоту души, подразумевая, что всякая иная красота сама по себе уже подозрительна. Зиночка же поклонялась красоте как таковой, завидовала этой красоте до слез и служила ей как святыне. Красота была для нее божеством, живым и всемогущим. А красота для Искры была лишь результатом, торжеством ума и таланта,

очередным доказательством победы воли и разума над непостоянным и слабым человеческим естеством. И поэтому просить о чем-либо Вику Искра не могла.

— Я сама попрошу! — горячо заверяла Зина. — Вика — золотая девчонка, честное комсомольское!

— У тебя все золотые.

— Ну хоть раз, хоть разочек доверь мне. Хоть единственный, Искорка!

— Хорошо, — милостиво согласилась Искра после некоторого колебания, — но не откладывать. Первое сентября-послезавтра.

— Вот спасибо! — засмеялась Зина. — Увидишь сама, как замечательно все получится. Дай я тебя поцелую за это.

— Не можешь ты без глупостей, — со вздохом сказала Искря, подставляя тем не менее тугую щеку подруге. — Я — к Саше, как бы он чего-нибудь от растерянности не наделал.

Первого сентября черная «эмка» притормозила за квартал до школы. Вика выпорхнула из нее, дошла до школьных ворот и, как всегда, никого не замечая, направилась прямо к Искре.

— Здравствуй. Кажется, ты хотела, чтобы Стамескин работал у папы на авиационном заводе?

Можешь ему передать: пусть завтра приходит в отдел кадров.

— Спасибо, Вика, — сказала Искра, изо всех сил стараясь не обращать внимания на ее торжественную надменность.

Но настроение было испорчено, и в класс она вошла совсем не такой сияющей, какой полчаса назад вбежала на школьный двор.

Глава вторая

Летом Артем устроился разнорабочим: копал канавы под водопровод, обмазывал трубы, помогал слесарям. Он не чурался никакого труда, одинаково весело спешил и за гаечным ключом и за пачкой «Беломора», держал, где просили, долбил, где приказывали, но принципов своих не нарушал. И с самого начала поставил в известность бригаду:

— Только я, это… Не курю. Вот. Лучше не предлагайте.

— Чахотка, что ли? — участливо спросил старший.

— Спортом занимаюсь. Это. Легкая атлетика.

Говорил Артем всегда скверно и хмуро стеснялся. Ему мучительно не хватало слов, и спасительное «это» звучало в его речах чаще всего остального. Тут была какая-то странность, потому что читал Артем много и жадно, письменные писал не хуже других, а с устным выходила одна неприятность. И поэтому Артем еще с четвертого класса преданно возлюбил науки точные и люто возненавидел все предметы, где надо много гово-

рить. Приглашение его к доске всегда вызывало приступ веселья в классе. Остряки изощрялись в подсказках, зануды подсчитывали, сколько раз прозвучало «это», а самолюбивый Артем страдал не только морально, но и физически, до натуральной боли в животе.

— Ну, я же с тобой нормально говорю? — жаловался он лучшему другу Жорке Ландысу. — И ничего у меня не болит, и пот не прошибает, и про этого… про Рахметова могу рассказать. А в классе не могу.

— Ну, еще бы. Ты у доски помираешь, а она гляделки пялит.

— Кто она? Кто она? — сердился Артем. — Ты, это… Знаешь, кончай эти штучки.

Но она была. Она появилась в конце пятого класса, когда в стеклах плавилось солнце, орали воробьи, а хмурый Григорий Андреевич — классный руководитель, имеющий скверную привычку по всем поводам вызывать родителей, — принес микроскоп.

Собственно, она существовала и раньше. Существовала где-то впереди, в противном мире девчонок и отличников, и Артем ее не видел. Не видел самым естественным образом, будто взгляд его проходил сквозь все ее косички и бантики. И

ему жилось хорошо, и ей, наверное, тоже.

До конца мая в пятом классе. До того дня, когда Григ принес микроскоп и забыл предметные стекла.

— Не трогать, — сказал он и ушел.

А Артем остался у доски, поскольку был дежурным и не получил разрешения сесть на место. Григ задерживался, класс развлекался, как мог, и скоро с «Камчатки» к доске стала летать пустая сумка тихого отличника Вовика Храмова. Вовик не протестовал, увлеченный берроузовским «Тарзаном», сумку швыряли через весь класс, Артем картинно ловил ее и кидал обратно. И так шло до поры, пока он не сплоховал, и не угодил сумкой в микроскоп.

Григ вошел, когда микроскоп грохнулся на пол. Класс замер, «Камчатка» пригнулась к партам, отличники съежились, а остальное население в бесстрашном любопытстве вытянуло шеи. Пауза была длинной; Григ поднял микроскоп, и в нем что-то зазвенело, как в пустой бутылке.

— Кто? — шепотом спросил Григ.

Если б он закричал, все было бы проще, но тогда Артем так бы и не узнал, кто такая она. Но Григ спросил тем самым шепотом, от которого в жилах пятиклассников вся кровь свернулась в

трусливый комочек.

— Кто это сделал?

— Я! — звонко сказала Зиночка. — Честное-пречестное, но не нарочно.

Именно в тот миг Артем понял, что она — это Зина Коваленко. Понял сразу и на всю жизнь. Это было великое открытие, и Артем свято хранил его в тайне. Это было нечто чрезвычайно серьезное и радостное, но радость Артем не спешил реализовать ни сегодня, ни завтра, ни вообще в обозримые времена. Он знал теперь, что радость эта существует, и твердо был убежден, что она найдет его, нужно лишь терпеливо ждать.

Артем был младшим: два брата уже слесарили, а Роза — самая красивая и самая непутевая — как раз в это лето ушла из отчего дома. Артем в тот день собирался на работу: он только что устроился копать канавы и очень важничал. Отец с братьями уже ушли на завод, мать кормила Артема на кухне; Артем считал, что он один на один с мамой, и капризничал:

— Мам, я не хочу с маслом. Мам, я хочу с сахаром.

И тут вошла Роза. Взъерошенная, невыспавшаяся, в детском халатике, из которого давно уже торчали обе коленки, локти и клочок живота. Она

была всего на три года старше Артема, училась в строительном техникуме, носила челку и туфли на высоком каблуке, и Артем был чуточку влюблен в жгучее сочетание черных волос, красных губ и белых улыбок. А тут никаких улыбок не было, а была какая-то невыспавшаяся косматость.

— Роза, где ты была ночью? — тихо спросила мама.

Роза выразительно повела насильно втиснутым в старенький халатик плечом.

— Роза, здесь мальчик, а то бы я спросила не так, — опять сказала мама и вздохнула. — Тебя один раз нахлестал по щекам отец, и тебе это, кажется, не понравилось.

— Оставьте вы меня! — вдруг выкрикнула Роза. — Хватит, хватит и хватит!

Мама спокойно и внимательно посмотрела на нее, долила чайник, поставила на примус и еще раз посмотрела. Потом заговорила:

— Я сажала тебя на горшочек и чинила твои чулочки. Неужели же сейчас мне нельзя сказать всей правды?

— А мне надоело, вот и все! — громко, но все же потише, чем прежде, заявила Роза. — Я люблю парня, и он меня любит, и мы распишемся. И если надо уйти из дома, то я уйду из дома, но мы все

равно распишемся, вот и все.

Так Артем узнал о любви, из-за которой бегут из родного дома. И любовь эта была не в бальном наряде, а в стареньком халатике, выпирала из него бедрами, плечами, грудью, и халатик трещал по всем швам. А в том, что это любовь, у Артема не было никаких сомнений, поскольку уйти из дома от сурового, но такого справедливого отца и от мамы, добрее и мудрее которой вообще не могло быть, уйти из этого дома можно было только из-за безумной любви. И гордился, что любовь эта нашла Розу, и немного беспокоился, что его-то она как раз обойдет стороной.

Отец категорически запретил упоминать имя дочери в своем доме. Он был суров и никогда не изменял даже нечаянно сорвавшемуся слову. Все молчаливо согласились с изгнанием блудной дочери, но через неделю, когда взрослые ушли на работу, мама сказала, старательно пряча глаза:

— Мальчик мой, тебе придется обмануть своего отца.

— Как обмануть? — от удивления Артем перестал жевать.

— Это большой грех, но я возьму его на свою душу, — вздохнула мама. — Завтра Розочка празднует свою свадьбу с Петром, и ей будет очень

горько, если рядом не окажется никого из родных. Может быть, ты сходишь к ней на полчасика, а дома скажем, что ты смотришь какое-нибудь кино.

— А какое? — спросил Артем.

Мама пожала плечами. Она была в кино два раза до замужества и знала только Веру Холодную.

— «Остров сокровищ»! — объявил Артем. — Я его уже смотрел и могу рассказать, если Матвей спросит.

Матвей был ненамного старше Артема и снисходил до расспросов. Старший, Яков, до этого не унижался и звал Артема Шпендиком.

— Шпендик, тащи молоток! Не видишь, в кухонном столе гвоздь вылез, мама может оцарапаться.

И мама в таких случаях говорила:

— Не надо мне никакого богатства, а дайте мне хороших детей.

На другой день Артем надел праздничную курточку, взял цветы и отправился к Розе. До нее было пять трамвайных остановок, но Артем сесть в трамвай не решился, опасаясь помять букет, и всю дорогу нес его перед собой, как свечку. И поэтому опоздал: в красном уголке общежития за разнокалиберными столами уже полно набилось чрезвычайно шумной молодежи. Оглушенный

смехом и криками, Артем затоптался у входа, пытаясь за горами винегретов разглядеть Розу.

— Тимка пришел! Ребята, передайте сюда моего братишку!

Артем не успел опомниться, как его схватили, подняли, в полном соответствии с просьбой пронесли вдоль столов и поставили на ноги рядом с Розой.

— Принимай подарок, Роза!

И тут только Артем увидел, что по обе стороны жениха и невесты сидят братья. Роза расцеловала его, а Яков пробурчал одобрительно:

— Молодец, Шпендик. Гляди, отцу не проболтайся.

Роза прибегала по утрам, и Артем видел ее редко. А вот Петьку часто, потому что Петька заходил на их водопроводные канавы, учил Артема газовой сварке, и за лето они подружились. Петька все мог и все умел, и с ним Артему было проще, чем с братьями. Но это было летом. А к сентябрю Артем получил расчет и принес деньги маме.

— Вот. — Он выложил на стол все бумажки и всю мелочь.

— Для трудовых денег нужен хороший кошелек, — сказала мама и достала специально к этому событию купленный кошелек. — Положи

в него свои деньги и сходи в магазин вместе с Розочкой и Петром.

— Нет, мам. Это тебе. Для хозяйства.

— У тебя будет костюм, а у меня будет удовольствие. Ты думаешь, это мало: иметь удовольствие от костюма, который сын купил на собственные деньги?

Артем для порядка поспорил, а потом положил заработок в кошелек и наутро отправился к молодым. Но в общежитии был один Петр: Роза ушла в техникум.

— Костюм — это вещь, — одобрил идею Петр. — Я знаю, какой надо: мосторговский. Или ленинградский. А еще бывает на одной пуговице, спортивный покрой называется. А может, ты на заказ хочешь? Купим материал бостон…

— А мне и в куртке хорошо, — сказал Артем. — Мне, это, шестнадцать. Дата?

— Дата, — кивнул Петр. — Хочешь, чтоб к дате?

— Хочу, это… — Артем солидно помолчал. — Отметить хочу.

— Ага, — сообразил Петр. — Значит, вместо костюма?

— Вместо. А про деньги скажу, что потерял. Или стащили.

— Вот это не пойдет, — серьезно сказал Петр. —

Это просто никак не годится: первая получка — и вранье? Получается, с вранья жизнь начинаешь, братишка. Так получается? Это во-первых. А во-вторых, мать с отцом зачем обижать? Они тоже порадоваться должны на твое рождение. Так или не так?

— Вроде так. Только, это, а ты с Розой?

— Мы тебя отдельно поздравим, — улыбнулся Петр. — А сейчас крой к маме и скажи, что меняешь костюм на день рождения.

Мама согласилась сразу, отец, поворчав, тоже, и Артем вместо магазинов, которые очень не любил, помчался к закадычному другу Жорке — советоваться, кого приглашать на первый в жизни званый вечер.

У Жорки Ландыса было два дела, которыми он занимался с удовольствием: коньки и марки, причем коньки были увлечением, а марки — страстью. Он разыскивал их в бабушкиных сундуках, до унижения клянчил у знакомых, выменивал, покупал, а порой и крал, не в силах устоять перед соблазном. Он первым в классе вступил в МОПР, лично писал письма в Германию, потом в Испанию, а затем в Китай, хищно отклеивал марки и тут же сочинял новые послания. Эта активность закрепила за ним славу

человека делового и оборотистого, и Артем шел к нему советоваться.

— Нужен список, — сказал Жорка. — Не весь же класс звать.

Артем был согласен и на весь, лишь бы пришла она. Жорка достал бумагу и приступил к обсуждению.

— Ты, я, Валька Александров, Пашка Остапчук…

С мужской половиной они покончили быстро. Затем Жорка отложил ручку и выбрался из-за стола:

— Девчонок пиши сам.

— Нет, нет, зачем это? — Артем испугался. — У тебя почерк лучше.

— Это точно, — с удовольствием отметил Ландыс. — Знаешь, куда я письмо накатал? В Лигу Наций насчет детского вопроса. Может, ответят? Представляешь, марочка придет!

— Вот и давай, — сказал Артем. — С кого начнем?

— Задача! — рассмеялся Жорка. — Лучше скажи, кого записывать, кроме Зинки Коваленко.

— Искру. — Артем сосредоточенно хмурился. — Ну, кого еще? Еще Лену Бокову, она с Пашкой дружит. Еще…

— Еще Сашку Стамескина, — перебил Жорка. — Из-за него Искра надуется, а без Искры…

— Без Искры нельзя, — вздохнул Артем.

Оба не любили Сашку: он был из другой компании, с которой не раз случались серьезные столкновения. Но без Сашки могла не пойти Искра, а это почти наверняка исключало присутствие Зиночки.

— Пиши Стамескина, — махнул рукой Артем. — Он теперь рабочий класс, может, не так задается.

— И Вику Люберецкую, — твердо сказал Жорка.

Артем улыбнулся. Вика давно уже была Жоркиной мечтой. Голубой, как ответ из Лиги Наций.

День рождения решено было отмечать в третье воскресенье сентября. Они еще не совсем привыкли к слову «воскресенье» и написали «в третий общевыходной», но почта сработала быстрее, чем рассчитывал Артем: в среду к нему подошла Искра и строго спросила:

— Эта открытка не розыгрыш?

— Ну, зачем? — Артем недовольно засопел. — Я, это… Шестнадцать лет.

— А почему не твой почерк? — допытывалась дотошная Искра.

— Жорка писал. Я — как курица лапой, сама знаешь.

— У нашей Искры недоверчивость прокурора сочетается с прозорливостью Шерлока Холмса, — громко сказала Вика. — Спасибо, Артем, я обязательно приду.

Артема немного беспокоило, как поведут себя братья в их школьной компании, но оказалось, что как раз в этот день и у Якова и у Матвея возникли неотложные дела. Они утром поздравили младшего и отбыли за час до прихода гостей, предварительно перетащив в одну комнату все столы, стулья и скамейки.

— К одиннадцати вернемся. Счастливо гулять, Шпендик!

Братья ушли, а мать и отец остались. Они сидели во главе стола: мама наливала девочкам ситро и угощала их пирогами. Мальчики пили мамину наливку, а отец водку. Он выпил две рюмки и ушел, и осталась одна мама, но осталась так, что всем казалось, будто она тоже ушла.

— Мировые у тебя старики, — сказал Валька Александров, на редкость общительный парень, очень не любивший ссор и быстро наловчившийся улаживать конфликты. — У меня только и слышишь: «Валька, ты что там делаешь?»

— За тобой, Эдисон, глаз нужен, — улыбнулся лучший спортсмен школы Пашка Остапчук. — А

то ты такое изобретешь…

Вальку прозвали Эдисоном за тихую страсть к усовершенствованию. Он изобретал вечные перья, велосипеды на четырех колесах и примус, который можно было бы накачивать ногой. Последнее открытие вызвало небольшой домашний пожар, и Валин отец пришел в школу просить, чтобы дирекция пресекла изобретательскую деятельность сына.

— Эдисон кого-нибудь спалит!

— А я считаю, что человеку нельзя связывать крылья, — ораторствовала Искра. — Если человек хочет изобрести полезную для страны вещь, ему необходимо помочь. А смеяться над ним просто глупо!

— Глупо по всякому поводу выступать с трибуны, — сказала Вика, и опять ее услышали, несмотря на смех, разговоры и шум.

— Нет, это не глупо! — звонко объявила Искра. — Глупо считать себя выше всех только потому, что…

— Девочки, девочки, я фокус знаю! — закричал миролюбивый изобретатель.

— Ну, договаривай, — улыбалась Вика. — Так почему же?

Искра хотела выложить все про духи, белье,

шубки и служебную машину, которая сегодня в десять должна была заехать за Викой. Хотела, но не решилась, потому что дело касалось некоторых девичьих тайн. И проклинала себя за слабость.

— Потому что у меня папа крупнейший руководитель? Ну и что же здесь плохого? Мне нечего стыдиться своего папы…

— Артемон! — вдруг отчаянно крикнула Зиночка: ей до боли стало жалко безотцовщину Искру. — Налей мне ситро, Артемон…

Все хохотали долго и весело, как можно хохотать только в детстве. И Зиночка хохотала громче всех, неожиданно назвав Артема именем верного пуделя, а Сашка Стамескин даже хрюкнул от восторга, и это дало новый повод для смеха. А когда отсмеялись, разговор изменился. Жорка Ландыс начал рассказывать про письмо в Лигу Наций и при этом так смотрел на Вику, что все стали улыбаться. А потом Искра, пошептавшись с Леной Боковой, предложила играть в шарады, и они долго играли в шарады, и это тоже было весело. А потом громко пели песни про Каховку, про Орленка и про своего сверстника, которого шлепнули в Иркутске. И когда пели, Зина пробралась к Артему и виновато сказала:

— Ты прости, пожалуйста, что я назвала тебя Артемоном. Я вдруг назвала, понимаешь? Я не придумывала, а — вдруг. Как выскочило.

— Ничего, — Артем боялся на нее смотреть, потому что она была очень близко, а смотреть хотелось, и он все время вертел глазами.

— Ты правда не обижаешься?

— Правда. Даже, это… Хорошо, словом.

— Что хорошо?

— Ну, это. Артемон этот.

— А… А почему хорошо?

— Не знаю. — Артем скопил все мужество, отчаянно заглянул в Зиночкины блестящие глазки, почувствовал вдруг жар во всем теле и выложил: — Потому что ты, понимаешь? Тебе можно.

— Спасибо, — медленно сказала Зина, и глаза ее заулыбались Артему особой, незнакомой ему улыбкой. — Я иногда буду называть тебя Артемоном. Только редко, чтобы ты не скоро привык.

И отошла как ни в чем не бывало. И ничего ни в ней, ни в других не изменилось, но на Артема вдруг обрушился приступ небывалой энергии. Он пел громче и старательнее всех, он заводил старенький патефон, что принес Пашка Остапчук, он даже порывался танцевать — но не с Зиной, нет! — с Искрой, оттопал ей ноги и оставил это

занятие. Мама следила за ним и улыбалась так, как улыбаются все мамы, открывая в своих детях что-то новое: неожиданное и немного взрослое. А когда все разошлись и Артем помогал ей убирать со стола, сказала:

— У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой. У тебя замечательные друзья, но знаешь, кто мне понравился больше всех? Мне больше всех понравилась Зиночка Коваленко. Мне кажется, она очень хорошая девочка.

— Правда, мам? — расцвел Артем.

И это был самый лучший подарок, который Артем получил ко дню своего рождения. Мама знала, что ему подарить.

Но это было уже поздно вечером, когда черная «эмка» увезла Вику, а остальные весело пошли на трамвай. И громко пели в пустом вагоне, а когда кому-нибудь надо было сходить, то вместо «до свидания» уходящий почему-то кричал:

— Физкультпривет!

И все хором отвечали:

— Привет! Привет! Привет!

Но и это было потом, а тогда танцевали. Собственно танцевали только Лена с Пашкой да Зиночка с Искрой. Остальные танцевать стеснялись, а Вика сказала:

— Я танцую или вальс, или вальс-бостон.

Чего-то не хватало — то ли танцующих, то ли пластинок, — от танцев вскоре отказались и стали читать стихи. Искра читала своего любимого Багрицкого, Лена — Пушкина, Зиночка — Светлова, и даже Артем с напряжением припомнил какие-то четыре строчки из хрестоматии. А Вика от своей очереди отказалась, но, когда все закончили, достала из сумочки — у нее была настоящая дамская сумочка из Парижа — тонкий потрепанный томик.

— Я прочитаю три моих любимых стихотворения одного почти забытого поэта.

— Забытое — значит, ненужное, — попытался сострить Жорка.

— Ты дурак, — сказала Вика. — Он забыт совсем по другой причине.

Она прошла на середину комнаты, раскрыла книжку, строго посмотрела вокруг и негромко начала:

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду…

— Это Есенин, — сказала Искра, когда Вика замолчала. — Это упадочнический поэт. Он воспевает кабаки, тоску и уныние.

Вика молча усмехнулась, а Зиночка всплеснула руками: это изумительные стихи, вот и все. И-зу-ми-тель-ны-е!

Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились и спорить она не могла. И не хотела. Она точно знала, что стихи упадочнические, потому что слышала это от мамы, но не понимала, как могут быть упадочническими такие стихи. Между знанием и пониманием возникал разлад, и Искра честно пыталась разобраться в себе самой.

— Тебе понравились стихи? — шепнула она Сашке.

— Ничего я в этом не смыслю, но стихи мировецкие. Знаешь, там такие строчки… Жалко, не запомнил.

— «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…» — задумчиво повторила Искра.

«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…» — вздохнул Сашка.

Вика слышала разговор. Подошла, спросила вдруг:

— Ты умная, Искра?

— Не знаю, — опешила Искра. — Во всяком случае, не дура.

— Да, ты не дура, — улыбнулась Вика. — Я никому не даю эту книжку, потому что она папина,

но тебе дам. Только читай не торопясь.

— Спасибо, Вика. — Искра тоже улыбнулась ей, кажется, впервые в жизни. — Верну в собственные руки.

На улице два раза рявкнул автомобильный сигнал, и Вика стала прощаться. А Искра бережно прижимала к груди зачитанный сборник стихов упадочнического поэта Сергея Есенина.

Глава третья

Школу построили недавно, и об открытии ее писали в газетах. Окна были широкими, парты еще не успели изрезать, в коридорах стояли кадки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал — редчайшая вещь по тем временам.

— Прекрасный подарок нашей детворе, — сказал представитель гороно. — Значит, так. На первом этаже — первые и вторые классы; на втором, соответственно, третьи и четвертые и так далее по возрастающей. Чем старше учащийся, тем более высокий этаж он занимает.

— Это удивительно точно, — подтвердила Валентина Андроновна. — Даже символично в прекрасном, нашем смысле этого слова.

Валентина Андроновна преподавала литературу и временно замещала директора. Ее массивная фигура источала строгость и целеустремленную готовность следовать самым новейшим распоряжениям и циркулярам.

Сделали согласно приказу, добавив по своей инициативе дежурных на лестничных площадках со строгим уговором: никого из учеников

не пускать ни вниз, ни вверх. Школа была прослоена, как пирог, десятиклассники никогда не видели пятиклашек, а первогодки вообще никого не видели. Каждый этаж жил жизнью своего возраста, но зато, правда, никто не катался на перилах. Кроме дежурных.

Валентина Андроновна полгода исполняла обязанности, а потом прислали нового директора. Он носил широченные галифе, мягкие шевровые сапоги «шимми» и суконную гимнастерку с огромными накладными карманами, был по-кавалерийски шумлив, любил громко хохотать и чихать на всю школу.

— Кадетский корпус, — заявил он, ознакомившись с символической школьной структурой.

— Распоряжение гороно, — со значением сказала Валентина Андроновна.

— Жить надо не распоряжениями, а идеями. А какая наша основная идея? Наша основная идея — воспитать гражданина новой, социалистической Родины. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макаром.

Он немного подумал и написал первый приказ:

1-й этаж. Первый и шестой классы.

2-й этаж. Второй, седьмой и восьмой.
3-й этаж. Третий и девятый.
4-й этаж. Четвертый, пятый и десятый.

— Вот, — сказал он, полюбовавшись на раскладку. — Все перемешаются, и начнется дружба. Где главные бузотеры? В четвертом и пятом: теперь на глазах у старших, значит, те будут приглядывать. И никаких дежурных, пусть шуруют по всем этажам. Ребенок — существо стихийно-вольное, и нечего зря решетки устанавливать. Это во-первых. Во-вторых, у нас девочки растут, а зеркало — одно на всю школу, да и то в учительской. Завтра же во всех девчоночьих уборных повесить хорошие зеркала. Слышишь, Михеич? Купить и повесить.

— Кокоток растить будем? — ядовито улыбнулась Валентина Андроновна.

— Не кокоток, а женщин. Впрочем, вы не знаете, что это такое.

Валентина Андроновна проглотила обиду, но письмо все же написала. Куда следует. Но там на это письмо не обратили никакого внимания, то ли приглядывались к новому директору, то ли у этого директора были защитники посильнее. Классы перемешали, дежурных ликвидирова-

ли, зеркала повесили, чем и привели девочек в состояние постоянно действующего ажиотажа. Появились новые бантики и новые челки, на переменах школа победно ревела сотнями глоток, и директор был очень доволен.

— Жизнь бушует!

— Страсти преждевременно будим, — поджимала губы Валентина Андроновна.

— Страсти — это прекрасно. Хуже нет бесстрастного человека. И поэтому надо петь!

Специальных уроков пения в школе не было из-за отсутствия педагогов, и директор решил вопрос волюнтаристски: отдал приказ об обязательном совместном пении три раза в неделю. Старшеклассников звали в спортзал, директор брал в руки личный баян и отстукивал ритм ногой.

Мы красные кавалеристы,
И про нас
Былинники речистые
Ведут рассказ…

Эти спевки Искра очень любила. У нее не было ни голоса, ни слуха, но она старалась громко и четко произносить слова, от которых по спине пробегали мурашки:

А вообще-то директор преподавал географию, но своеобразно, как и все, что делал. Он не любил установок, а тем паче — указаний и учил не столько по программе, сколько по совести большевика и бывшего конармейца.

— Что ты мне все по Гангу указкой лазаешь? Плавать придется, как-нибудь разберешься в притоках, а не придется, так и не надо. Ты нам, голуба, лучше расскажи, как там народ бедствует, как английский империализм измывается над трудящимся людом. Вот о чем надо помнить всю жизнь!

Это когда дело касалось стран чужих. А когда своей, директор рассказывал совсем уж вещи непривычные.

— Берем Сальские степи. — Он аккуратно обрисовывал степи на карте. — Что характерно? А то характерно, что воды мало, и если случится вам летом там быть, то поите коня с утра обильно, чтоб аж до вечера ему хватило. И наш конь тут не годится, надо на местную породу пересаживаться, они привычнее.

Может, за эти рассказы, может, за демократизм и простоту, может, за шумную человеческую откровенность, а может, и за все разом любила

директора школа. Любила, уважала, но и побаивалась, ибо директор не терпел наушничанья и, если ловил лично, действовал сурово. Впрочем, озорство он прощал: не прощал лишь озорства злонамеренного, а тем более хулиганства.

В восьмом классе парень ударил девочку. Не случайно, и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно и зло. Директор сам вышел на ее крики, но парень убежал. Передав плачущую жертву учительницам, директор вызвал из восьмого класса всех ребят и отдал приказ:

— Найти и доставить. Немедленно. Все. Идите.

К концу занятий парня приволокли в школу. Директор выстроил в спортзале все старшие классы, поставил в центр доставленного и сказал:

— Я не знаю, кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, а может, отец семейства и примерный человек. Но знаю одно: сейчас перед вами стоит не мужчина. Парни и девчата, запомните это и будьте с ним поосторожнее. С ним нельзя дружить, потому что он предаст, его нельзя любить, потому что он подлец, ему нельзя верить, потому что он изменит. И так будет, пока он не докажет нам, что понял, какую совершил мерзость, пока не станет настоящим мужчиной. А чтоб ему было понятно, что такое настоящий

мужчина, я ему напомню. Настоящий мужчина тот, кто любит только двух женщин. Да, двух, что за смешки! Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть, и это самые главные предметы в жизни!

Искра зааплодировала первой. Зааплодировала, потому что впервые видела и слышала комиссара. И весь зал зааплодировал за нею.

— Тише, хлопцы, тише! — Директор заулыбался. — Между прочим, в строю нельзя в ладоши бить. — Он повернулся к парню, усердно изучавшему пол, и в мертвой тишине сказал негромко и презрительно: — Иди учись. Средний род.

Да, они очень любили своего директора Николая Григорьевича Ромахина. А вот свою новую классную руководительницу Валентину Андроновну не просто не любили, а презирали столь дружно и глубоко, что не затрачивались уже ни на какие иные эмоции. Разговоров с нею не искали: терпеливо выслушивали, стараясь не

отвечать, а если отвечать все же приходилось, то пользовались ответами наипростейшими: «да» и «нет». Но Валентина Андроновна была далеко не глупа, прекрасно знала, как к ней относятся, и, не найдя путей к умам и душам, начала чуть-чуть, самую малость заискивать. И это «чуть-чуть» было тотчас же отмечено классом.

— Что-то наша Валендра заюлила? — громко удивился Пашка Остапчук.

— Льет масло в будущие волны страстей человеческих, — с пафосом изрекла Лена Бокова.

— Ворвань она льет, а не масло, — проворчал просвещенный филателист Жорка Ландыс. — Откуда у такой задрыги масло?

— Прекрати, — строго сказала Искра. — О старших так не говорят, и я не люблю слово «задрыга».

— А зачем же произносишь, если не любишь?

— Для примера. — Искра покосилась на Вику, отметила, что она улыбается, и расстроилась. — Нехорошо это, ребята. Получается, что мы злословим всем классом.

— Ясно, ясно, Искра! — торопливо согласился Валька Эдисон. — Действительно, в классе не надо. Лучше дома.

Но Валентина Андроновна вовсе не огра-

ничивала свои цели классом. Да, ей хотелось властвовать над умами и душами строптивого 9 «Б», но заветной мечтой оставалось все же не это. Она твердо была убеждена, что школа — ее школа, где она целых полгода правила единовластно, — ныне попала в руки авантюриста. Вот что мучило Валентину Андроновну, вот что заставляло ее писать письма по всем адресам, но письма эти пока не имели ответа. Пока. Она учитывала это «пока».

Неуклонно борясь со школьным руководством, она не думала о карьере даже тайно, даже про себя. Она думала о линии, и эта сегодняшняя линия нового директора вполне искренне, до слез и отчаяния, представлялась ей ошибочной. Искренне Валентина Андроновна боролась не за личное, а за общественное благо. Ничего личного в ее аскетической жизни одинокой и необаятельной женщины давно уже не существовало.

В воскресенье веселились, в понедельник вспоминали об этом, а во вторник после уроков Искру вызвала классная руководительница.

— Садись, Искра, — сказала она, плотно прикрывая дверь 1 «А», в котором принимала для разговоров наедине.

В отличие от Зиночки Искра не боялась ни вы-

зовов, ни отдельных кабинетов, ни бесед с глазу на глаз, поскольку никогда не чувствовала за собой никакой вины. А вот Зиночка чувствовала вину — если не прошлую, то будущую — и отчаянно боялась всего.

Искра села, одернула платье — это ужасно, когда торчат коленки, ужасно, а ведь торчат! — и приготовилась слушать.

— Ты ничего не хочешь мне рассказать?

— Ничего.

— Жаль, — вздохнула Валентина Андроновна. — Как ты думаешь, почему я обратилась именно к тебе? Я могла бы поговорить с Остапчуком или Александровым, с Ландысом или Шефером, с Боковой или Люберецкой, но я хочу говорить с тобой, Искра.

Искра мгновенно прикинула, что вся названная компания была на дне рождения и что среди всех не названы лишь Саша и Зина. Саша уже не был учеником 9 «Б», но Зиночка…

— Я обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола. Не только как к отличнице и общественнице. Не только как к человеку идейному и целеустремленному. — Валентина Андроновна сделала паузу, — но и потому, что хорошо знаю твою маму как прекрас-

ного партийного работника. Ты спросишь: зачем это вступление? Затем, что враги используют сейчас любые средства, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот почему твой святой долг немедленно сказать…

— Мне нечего вам сказать, — ответила Искра, лихорадочно соображая, что же они такое натворили в воскресенье.

— Да? А разве тебе неизвестно, что Есенин-поэт упадочнический? А ты не подумала, что вас собрали под предлогом рождения — я проверила анкету Шефера: он родился второго сентября. Второго, а собрал вас через три недели! Зачем? Не для того ли, чтобы ознакомить с пьяными откровениями кулацкого певца?

— Есенина читала Люберецкая, Валентина Андроновна.

— Люберецкая? — Валентина Андроновна была явно удивлена, и Искра не дала ей опомниться.

— Да, Вика. Зина Коваленко напутала в своей информации.

Это был пробный шар. Искра даже отвернулась, понимая, что идет на провокацию. Но ей необходимо было проверить подозрения.

— Значит, Вика? — Валентина Андроновна

окончательно утеряла наступательный пафос. — Да, да. Коваленко много болтала лишнего. Кто-то ушел из дома, кто-то в кого-то влюбился, кто-то читал стихи. Она очень, очень несобранная, эта Коваленко! Ну что же, тогда все понятно, и… и ничего страшного. Отец Люберецкой — виднейший руководитель, гордость нашего города. И Вика очень серьезная девушка.

— Я могу идти?

— Что? Да, конечно. Видишь, как все просто решается, когда говорят правду. Твоя подруга Коваленко очень, очень несерьезный человек.

— Я подумаю об этом, — сказала Искра и вышла.

Она торопилась к несерьезному человеку, зная, что любопытная подружка непременно ждет ее во дворе школы. Ей необходимо было объяснить кое-что про сплетни, длинный язык и легкомысленную склонность к откровениям.

Зиночка весело щебетала в обществе двух десятиклассников Юрия и Сергея, а вдали маячил Артем. Искра молча взяла подружку за руку и повлекла за собой; Артем двинулся было за ними, но одумался и исчез.

— Куда ты меня тащишь?

Искра завела Зину за угол школы, втиснула

в закуток у входа в котельную и спросила без предисловия:

— Ты кто — идиотка, сплетница или предатель?

Вместо ответа Зиночка тут же вызвала на помощь слезы. Она всегда прибегала к ним в затруднительных случаях, но на сей раз это было ошибкой.

— Значит, ты предатель.

— Я? — Зина враз перестала плакать.

— Ты что наговорила Валендре?

— А я наговорила? Она поймала меня в уборной перед зеркалом. Стала ругать, что верчусь и… кокетничаю. Это она так говорит, а я вовсе не кокетничаю и даже не знаю, как это делают. Ну, я стала оправдываться. Я стала оправдываться, а она — расспрашивать, подлая. И я ничего не хотела говорить, честное слово, но… все рассказала. Я не нарочно рассказала, Искорка, я же совсем не нарочно.

Осторожно всхлипывая, Зиночка говорила что-то еще, но Искра уже не слушала, а размышляла. Потом скомандовала:

— Утрись, и идем к Люберецким.

— Куда? — От удивления Зиночка мгновенно перестала всхлипывать.

— Ты подвела человека. Завтра Вику начнет допрашивать Валендра, и нужно, чтобы она была к этому готова.

— Но мы же никогда не были у Люберецких.

— Не были, так будем. Пошли!

Вика гордилась своим отцом не меньше, чем Искра мамой. Но если Искра гордилась про себя, то Вика — открыто и победоносно. Гордилась его наградами: орденом боевого Красного Знамени за гражданскую войну и орденом за высокие достижения в мирном строительстве. Гордилась его многочисленными именными подарками от наркома, фотоаппаратами и часами, радиоприемниками и патефонами. Гордилась его статьями, его боевыми заслугами в прошлом и его прекрасными делами в настоящем.

Мать Вики давно умерла. Первое время с ними жила тетя — сестра отца; позднее она вышла замуж, переехала в Москву и навещала Люберецких нечасто. Хозяйство вела домработница, быт был налажен, девочка росла и развивалась нормально, и тете не о чем было особенно беспокоиться. Беспокоился всегда сам Люберецкий. И с каждым годом беспокоился все больше именно потому, что дочь нормально росла и нормально развивалась.

Беспокойство выражалось в крайностях. Страх за нее породил машину, доставлявшую Вику в школу и из школы, в театр и из театра, за город и домой. Желание видеть ее самой красивой привело к заграничным нарядам, прическам и шубкам, которые были бы впору молодой женщине, а не девочке, только-только начинавшей взрослеть. Он сам невольно торопил ее развитие, гордился, что развитие это обогнало ее сверстниц, и тревожился замкнутостью дочери, не догадываясь, что замкнутость Вики и есть результат его воспитания.

Вика очень гордилась отцом и очень тяготилась одиночеством. Но была самолюбива, больше всего боялась, что кто-нибудь вздумает ее жалеть, и поэтому внезапный визит девочек был ей неприятен.

— Извини, мы по важному делу, — сказала Искра.

— Какое зеркало! — ахнула Зина: зеркала были ее слабостью.

— Старинное, — не удержалась Вика. — Папе подарил знакомый академик.

Она хотела провести девочек к себе, но на голоса вышел папа — Леонид Сергеевич Люберецкий.

— Здравствуйте, девочки. Ну, наконец-то и у

моей Вики появились подружки, а то все с книжками да с книжками. Очень рад, очень! Проходите в столовую, я сейчас подам чай.

— Чай может подать Поля, — с легким неудовольствием сказала Вика.

— Может, но я лучше, — улыбнулся отец и ушел на кухню.

За чаем Леонид Сергеевич ухаживал за девочками, угощал пирожными и конфетами в нарядных коробках. Искру и Зину смущали пирожные: они привыкли есть их только по великим праздникам. Но отец Вики при этом шутил, улыбался, и ощущение чужого праздника, на котором они оказались незваными гостями, постепенно оставило девочек. Зиночка вскоре завертелась, с любопытством разглядывая хрусталь за стеклами дубового буфета, а Искра неожиданно разговорилась и тут же поведала о беседе с учительницей.

— Девочки, это все несерьезно. — Отец Вики тем не менее почему-то погрустнел и тяжело вздохнул. — Никто Сергея Есенина не запрещал, и в стихах его нет никакого криминала. Надеюсь, что ваша учительница и сама все понимает, а разговор этот, что называется, под горячую руку. Если хотите, я позвоню ей.

— Нет, — сказала Искра. — Извините, Леонид

Сергеевич, но в своих делах мы должны разбираться сами. Надо вырабатывать характер.

— Молодец. Должен признаться, я давно хотел с вами познакомиться, Искра. Я много наслышан о вас.

— Папа!

— А разве это тайна? Извини. — Он снова обратился к Искре: — Оказалось, что я знаком с вашей мамой. Как-то случайно повстречались в горкоме и выяснили, что виделись еще в гражданскую, воевали в одной дивизии. Удивительно отважная была дама. Прямо Жанна д'Арк.

— Комиссар, — тихо, но твердо поправила Искра.

Она ничего не имела против Жанны д'Арк, но комиссар был все же лучше.

— Комиссар, — согласился Люберецкий. — А что касается поэзии в частности и искусства вообще, то мне больше по душе то, где знаки вопросительные превалируют над знаками восклицательными. Восклицательный знак есть перст указующий, а вопросительный — крючок, вытаскивающий ответы из вашей головы. Искусство должно будить мысли, а не убаюкивать их.

— Не-ет, — недоверчиво протянула Зиночка. — Искусство должно будить чувства.

— Зинаида! — сквозь зубы процедила Искра.

— Зиночка абсолютно права, — сказал Леонид Сергеевич. — Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно должно тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растревоженный человек пытлив и любознателен: состояние покоя и довольства собой порождает леность души. Вот почему мне так дороги Есенин и Блок, если брать поэтов современных.

— А Маяковский? — тихо спросила Искра. — Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.

— В огромнейшем таланте Маяковского никто не сомневается, — улыбнулся Леонид Сергеевич.

— Папа был знаком с Владимиром Владимировичем, — пояснила Вика.

— Знаком? — Зина живо развернулась на стуле. — Не может быть!

— Почему же? — сказал отец. — Я хорошо знал его, когда учился в Москве. Признаться, мы с ним отчаянно спорили, и не только о поэзии. То было время споров, девочки. Мы не довольствовались абсолютными истинами, мы искали и спорили. Спорили ночи напролет, до одури.

— А разве можно спорить с… — Искра хотела

сказать «с гением», но удержалась.

— Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму, она обязана все время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки. И очень сердился, когда узнавал, что кто-то стремится перелить живую истину в чугунный абсолют.

В дверь заглянула пожилая домработрица:

— Машина пришла, Леонид Сергеевич.

— Спасибо, Поля. — Леонид Сергеевич встал, задвинул на место стул. — Всего доброго, девочки. Пейте чай, болтайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи. И, пожалуйста, не забывайте о нас с Викой.

— Ты надолго, папа?

— Раньше трех с совещаний не отпускают, — улыбнулся отец и вышел.

Искра долго вспоминала и случайную встречу, и возникший вдруг разговор. Но тогда, слушая немолодого (как ей казалось) человека с молодыми глазами, она со многим не соглашалась, многое пыталась оспорить, над многим намеревалась поразмыслить, потому что была человеком основательным, любившим докапываться до корней. И шла домой, раскладывая по полочкам

услышанное, а Зиночка щебетала рядом:

— Я же говорила, что Вика золотая девчонка, ведь говорила же, говорила! Господи, восемь лет из-за тебя потеряли. Какая посуда! Нет, ты видела, какая посуда? Как в музее! Наверное, из такой посуды Потемкин пил.

— Истина, — вдруг неторопливо, точно вслушиваясь, произнесла Искра. — Зачем же с ней спорить, если она — истина?

— «В образе Печорина Лермонтов отразил типичные черты лишнего человека…» — Зина очень похоже передразнила Валентину Андроновну и рассмеялась. — Попробуй, поспорь с этой истиной, а Валендра тебе «оч. плохо» вкатит.

— Может, это не истина? — продолжала размышлять Искра. — Кто объявляет, что истина — это и есть истина? Ну, кто? Кто?

— Старшие, — сказала Зиночка. — А старшим — их начальники… А мне налево, и дай я тебя поцелую.

Искра молча подставила щеку, дернула подружку за светло-русую прядку, и они расстались. Зина бежала, нарочно цокая каблучками, а Искра шла хоть и быстро, но степенно и тихо, старательно продолжала думать.

Мама была дома и, как обычно, с папиросой:

после той страшной ночи, когда за нею случайно подсмотрела Искра, мама стала курить. Много курить, разбрасывая по всей комнате пустые и начатые пачки «Дели».

— Где ты была?

— У Люберецких.

Мама чуть приподняла брови, но промолчала. Искра прошла в свой угол, за шкаф, где стояли маленький столик и этажерка с ее книгами. Пыталась заниматься, что-то решала, переписывала, но разговор не выходил из головы.

— Мама, что такое истина?

Мать отложила книгу, которую читала внимательно, с выписками и закладками, сунула папиросу в пепельницу, подумала, достала ее оттуда и прикурила снова.

— По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.

— Тогда скажи: существуют ли бесспорные истины. Истины, которые не требуют доказательства.

— Конечно. Если бы не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.

— Значит, человек живет во имя истины?

— Мы — да. Мы, советский народ, открыли

непреложную истину, которой учит нас партия. За нее пролито столько крови и принято столько мук, что спорить с нею, а тем более сомневаться — значит предавать тех, кто погиб и... и еще погибнет. Эта истина — наша сила и наша гордость. Искра. Я правильно поняла твой вопрос?

— Да, да, спасибо, — задумчиво сказала Искра. — Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.

— С друзьями спорить не о чем, а с врагами надо драться.

— Но ведь надо уметь спорить?

— Надо учить самой истине, а не способам ее доказательства. Это казуистика. Человек, преданный нашей истине, будет, если понадобится, защищать ее с оружием в руках. Вот чему надо учить. А болтовня не наше занятие. Мы строим новое общество, нам не до болтовни. — Мать бросила в пепельницу окурок, вопросительно поглядела на Искру. — Почему ты спросила об этом?

Искра хотела рассказать о разговоре, который ее растревожил, о восклицательных и вопросительных знаках, по которым Леонид Сергеевич оценивал искусство, но посмотрела в привычно суровые материнские глаза и сказал:

— Просто так.

— Не читай пустопорожних книг, Искра. Я хочу проверить твой библиотечный формуляр, да все никак не соберусь, а мне завтра предстоит серьезное выступление.

Формуляр Искры был в полном порядке, но Искра читала и помимо формуляра. Обмен книгами в школе существовал, вероятно, еще с гимназических времен, и Искра уже знала Гамсуна и Келлермана, придя от «Виктории» и «Ингеборг» в странное состояние тревоги и ожидания. Тревога и ожидание не отпускали даже по ночам, и сны ей снились совсем не формулярного свойства. Но об этом она не говорила никому, даже Зиночке, хотя Зиночка о подобных снах частенько говорила ей. Тогда Искра очень сердилась, и Зина не понимала, что сердится она за угаданные сны.

Разговор с матерью укрепил Искру в мысли о существовании непреложных истин, но кроме них существовали и истины спорные, так сказать, истины второго порядка. Такой истиной, в частности, было отношение к Есенину, которого Искра все эти дни читала, учила наизусть и кое-что из которого переписывала в тетрадь, поскольку книга подлежала скорому возврату. Она переписывала тайком от матери, потому что

запрет, хоть и не гласный, все же действовал, и Искра впервые спорила с официальным положением, а значит, и с истиной.

— А я давно все понял, — сказал Сашка, когда она поведала ему о своих сомнениях. — Есенину просто завидуют, вот и все. И хотят, чтобы мы его забыли.

Такое простое объяснение Искру устроить не могло. А посоветоваться было не с кем, и она, основательно подумав, решила расспросить при случае Леонида Сергеевича.

В школе царила тишина, словно не было неприятного разговора среди парт первоклашек, не было чтения крамольных стихов, да и самого вечера у Артема тоже вроде бы не было. Валентина Андроновна никого больше не вызывала, при встречах милостиво улыбалась, и Искра решила, что Леонид Сергеевич прав: случилось под горячую руку. Никто не путал порядок вещей, истины оставались истинами — такими же чистыми, недоступными и манящими, как восьмитысячники Гималаев. Искра по-прежнему усердно занималась, читала стихи и неформулярные романы, играла в баскетбол, ходила с Сашей в кино или просто так и регулярно выпускала стенгазету, поскольку была ее главным редактором.

Глава четвертая

Строго говоря, Зиночка постоянно жила в сладком состоянии легкой влюбленности. Влюбленность являлась насущной необходимостью, без нее просто невозможно было бы существовать, и каждое первое сентября, заново возвращаясь в класс, Зиночка срочно определяла, в кого она будет влюблена в данном учебном году. Выбранный ею объект и не подозревал, что стал таковым.

Зиночка не усложняла свою жизнь задачей кому-то понравиться — ей вполне хватало того, что сама она считала себя влюбленной, мечтала о взаимности и страдала от ревности. Это была прекрасная жизнь в мечтах, но в этом году старый способ себя почему-то не оправдал, и Зиночка пребывала в состоянии страшного желания куда-то все время бежать и в то же время оставаться на месте и ждать, ждать нетерпеливо и отчаянно, а чего ждать, она не знала.

В пятом классе Артем вовсе не был предметом ее тайной любви (он был предметом в третьем, но не знал этого). Зиночка тогда спасла его от возмездия по страсти к сильным ощущениям: у нее

была такая тяга к страшному — ляпнуть что-то, а потом посмотреть, что из этого выйдет. Из того опыта ничего доброго не вышло, но зато Зина всласть наревелась и долгое время ходила в героинях, даже за косы ее дергали сильнее и чаще, чем остальных девочек. И этого было достаточно, и она не обращала на Артема ровно никакого внимания еще целых три года, успев заменить косички короткой стрижкой. А на дне рождения вдруг открыла, что сама, оказывается, стала объектом, что нравится Артему, что он совершенно особенно смотрит на нее и совершенно особенно с ней говорит.

Это было великое открытие. Зиночка невероятно возгордилась, стала пуще прежнего вертеться перед встречными зеркалами и испытывать острую потребность в разговорах о том вечере, о любви, тоске и страданиях. Вот тут-то на нее и наткнулась Валентина Андроновна и легко выпытала все, правда, все настолько запутанное, что запуталась сама и оставила это бесперспективное дело.

Все шло просто замечательно, если бы не два десятиклассника, проявившие энергичный интерес. Один был просто самый красивый парень в школе, которого за красоту девичье большинство

регулярно выбирало старостой класса и который с завидным постоянством ничего не делал на этом высоком посту. Второй тоже был ничего, и Зиночка вдруг с ужасом поняла, что на нее свалилось слишком много счастья. Надо было что-то решать, а решать Зиночка не любила, страдала, убивалась и никогда ничего не решала.

Все всегда решала Искра. Зина выкладывала проблемы, Искра на мгновение сдвигала брови и выдавала программу. Точную, завершенную, не подлежащую сомнениям. И все было просто и ясно, но идти к подруге с вопросом, в кого влюбляться, казалось немыслимым. Искра строго осудила бы прежде всего саму постановку вопроса как явно скороспелую и отчасти мелкобуржуазную (все, что не было направлено на служение обществу, Искра считала мелкобуржуазным). А затем последовал бы логичный анализ собственного Зиночкиного существа, и тут выяснилась бы такая бездна недостатков, которые Зине предстояло изжить до того, как влюбляться, что сама возможность любви откатилась бы лет этак на сорок. И Зиночке тогда оставалось бы только плакать, потому что иных аргументов, кроме слез и полного отсутствия логики, у нее не было.

Дома на совет рассчитывать не приходилось. Зина появилась на свет, когда ее уже не ждали: через восемь лет после рождения Александры, а старшая, Мария, была совсем уже взрослой, с двумя детьми, и жила с мужем на Дальнем Востоке. У Александры тоже была семья, она заходила редко, и Зиночке в ее присутствии было всегда немного не по себе: она считалась маленькой на все времена. Оставалась мама, вечно занятая своей больницей, в которой работала старшей операционной сестрой. Но мама — так уж получилось — была настолько старше, что уже не могла советовать, забыв те времена, когда влюбляются сразу в троих. С отцом, занятым по горло работой, совещаниями и собраниями, о таких вопросах говорить было бесполезно, и Зиночка оказалась предоставленной самой себе в ситуации сложной и непривычной.

На контрольной по алгебре ее осенило, и она написала три письма. Текст их отличался только обращением: «Юра, друг мой!», «Друг мой Сережа!» и «Уважаемый друг и товарищ Артем!» Далее туманно говорилось о чувствах, об одиноком страдающем девичьем сердце, о страшной тайне, которая мешает их дружбе в настоящее время, но, возможно, все еще обернется к луч-

шему, и ей, Зине, удастся совладать со своими страстями, и тогда она, одинокая и несчастная, попросит снова дружбы, которую сейчас — временно! — вынуждена была отвергнуть. Сочинив послания, в которых дальнобойные обещания ловко затуманивались роковыми случайностями настоящего периода, Зиночка очень обрадовалась и подумала даже, что она ужасно хитрая и прозорливая. Правда, вопрос, кому их посылать, остался без ответа, но с этим Зина решила пока не спешить: хватит и того, что она самостоятельно нашла выход, до которого никто на свете — даже Искра! — никогда бы не додумался. Поэтому она положила письма в учебник и немного повеселела. Контрольную при этом она, естественно, сделать не успела, но выдала математику Семену Исаковичу такого ревака, что старенький и очень добрый учитель поставил ей «посредственно».

Три дня она решала вопрос, кому — двоим! — отправлять письма, а кому — одному! — не отправлять. Но тут выяснилось, что два письма она куда-то подевала и осталось всего одно: «Уважаемый друг и товарищ Артем!» И поскольку выбора не было, она его и сунула Артему, когда рассаживались по партам после большой перемены.

Артем весь урок читал и перечитывал письмо, отказался выйти к доске, получил «плохо» и попросил запиской свидания. Зиночка не рассчитывала на свидание, но очень обрадовалась.

— Я, это, не понял, — честно признался Артем, когда они уединились в школьном дворе после уроков. — У тебя это… неприятности?

— Да, — кротко вздохнула Зина.

Артем тоже завздыхал, затоптался и засопел. Потом спросил:

— Может, помощь нужна?

— Помощь? — Она горько усмехнулась. — Женщине может помочь только слепой случай или смерть.

Артем в таких категориях не разбирался и не очень им доверял. Но она почему-то страдала; он никак не мог взять в толк, почему она страдает, но искренне страдал сам.

— Может, это… Морду кому-нибудь надо набить? Ты это… Ты говори, не стесняйся. Я для тебя…

Тут он замолчал, не в силах признаться, что для нее он и вправду может сделать все, что только она пожелает. А Зиночка по легкомыслию и женской неопытности пропустила эти три слова. Три произнесенных Артемом слова из той клятвы,

которую он носил в себе. Три слова, которые для любой женщины значат куда больше, чем признание в любви, ибо говорят о том, что человек хочет отдать, а не о том, что он надеется получить. А она испугалась.

— Нет, нет, что ты! Не надо мне ничего, я сама справлюсь со своим пороком.

— С каким пороком?

— Я не свободна, — таинственно сказала она, лихорадочно припоминая, что говорят героини романов в подобных случаях. — Мне не нравится тот человек, я даже ненавижу его, но я дала ему слово.

Артем смотрел очень подозрительно, и Зиночка замолчала, сообразив, что переигрывает.

— Этот человек — Юрка из десятого «А»? — спросил он.

— Что ты, что ты! — всполошилась Зина. — Юрка — это было бы просто. Нет, Артем, это не он.

— А кто?

Зиночка догадывалась, что Артем просто так не отстанет. Надо было выкручиваться.

— Ты никому не скажешь?

— Никому-никому!

Артем молчал, очень серьезно глядя на нее.

— Это такая тайна, что, если ты меня выдашь,

я утоплюсь.

— Зина, это, — строго сказал он. — Не веришь, лучше не говори. Я вообще не трепло, а для тебя…

Опять выскочили эти три слова, и опять он замолчал, и опять Зиночка ничего не услышала.

— Это взрослый человек, — призналась она. — Он женат и уже бросил из-за меня жену. И двоих детей. То есть одного, второй еще не родился…

— Ты же еще маленькая.

— А что делать? — отчаянным шепотом спросила Зиночка. — Ну что делать, ну что? Конечно, я не пойду за него замуж, ни за что не пойду, но пока — пока, понимаешь? — мы с тобой будем как будто мы просто товарищи.

— А мы и так просто товарищи.

— Да, к сожалению. — Она тряхнула головой. — Я поздно разобралась в ситуации, если хочешь знать. Но теперь пока будет так, хорошо? Пока, понимаешь?

— А ты маме очень понравилась, — сказал Артем, помолчав.

— Неужели? — Зиночка заулыбалась, забыв о своих несчастьях с женатым человеком. — У тебя замечательная мама, и я в нее влюбилась. Я почему-то быстро влюбляюсь. Привет!

И убежала, стараясь казаться трагической даже со спины, хотя ей очень хотелось петь и скакать. Артем понимал, что она наврала ему с три короба, но не сердился. Главное было не то, что она наврала, а то, что он ей был не нужен. Артем впервые в жизни открыл, где находится сердце, и уныло — скакать ему не хотелось — поплелся домой. И как раз в это время в директорский кабинет вошла Валентина Андроновна.

— Полюбуйтесь, — сказала она и положила на стол два исписанных листка, вырванных из тетради в линейку.

В тоне ее звучала печально-торжественная нота, но Николай Григорьевич внимания на эту ноту не обратил, поскольку был заинтригован началом: «Юра, друг мой!» и «Друг мой Сережа!» Далее шло нечто маловразумительное, но директор дочитал и весело рассмеялся:

— Вот дуреха! Ну до чего же милая дурешка писала!

— А мне не до смеха. Извините, Николай Григорьевич, но это все ваши зеркала.

— Да будет вам, — отмахнулся директор. — Девочки играют в любовь, ну и пусть себе играют. Все естественное разумно. С вашего разрешения.

Он скомкал письмо и полез в карман. Валенти-

на Андроновна рванулась к столу:

— Что вы делаете?

— Возвращать неудобно, значит, надо прятать концы в воду, то бишь в огонь.

— Я категорически протестую. Вы слышите, категорически! Это документ…

Она пыталась через стол дотянуться до бумажки, но руки у директора были длиннее.

— Никакой это не документ, Валентина Андроновна.

— Я знаю, кто это писал. Знаю, понимаете? Это писала Коваленко: она забыла хрестоматию…

— Мне это неинтересно. И вам тоже неинтересно. Должно быть неинтересно, я имею в виду… Сесть!

По его команде когда-то шел в атаку эскадрон. И, услышав металл, Валентина Андроновна поспешно опустилась на стул. А директор достал наконец-то спички и сжег оба письма.

— И запомните: не было никаких писем. Самое страшное — это подозрение. Оно калечит людей, вырабатывая из них подлецов и шкурников.

— Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич, но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными, но и порочными. Да, порочными! Я заявляю откровенно, что буду

жаловаться.

Директор вздохнул, горестно покачал головой и указал пальцем на дверь:

— Идите и пишите. Скорее, пока пыл не прошел.

Валентина Андроновна остервенело хлопнула дверью. Терпение ее лопнуло, отныне она шла в открытый бой за то, что было смыслом ее жизни: за советскую школу. И отважно сжигала за собой все мосты.

Если бы не было вечера накануне, Искра заметила бы повышенную шустрость Зиночки. Но вечер был, привычная гармония нарушилась; Искра больше занималась собой, а потому и упустила из-под контроля подружку.

Совсем немного поработав на заводе, Сашка Стамескин стал заметно меняться. У него появилась какая-то усталая уверенность в голосе, собственные суждения и — что настораживало Искру — этакое особое отношение к ней. Он еще по-прежнему привычно поддакивал и привычно подчинялся, привычно присвистывая выбитыми зубами и привычно мрачнел при очередных выговорах. И вместе с тем минутами появлялось то, что давали отныне завод, зарплата, взрослая жизнь и взрослый круг знакомств, и Искра не

знала, радоваться ей или бороться изо всех сил.

В тот вечер они не пошли в кино, потому что Искре вздумалось погулять. А погулять означало поговорить, ибо идти просто так или молоть вздор Искра не умела. Она либо воспитывала своего Стамескина, либо рассказывала, что вычитала в книгах или до чего додумалась сама. Когда-то Сашка отчаянно спорил с нею по всем поводам, потом примолк, а в последнее время стал улыбаться, и улыбка эта Искре решительно не нравилась.

— Почему ты улыбаешься, если ты не согласен? Ты спорь со мной и отстаивай свою точку зрения.

— А меня твоя точка устраивает.

— Эй, Стамескин, это не по-товарищески, — вздохнула Искра. — Ты хитришь, Стамескин. Ты стал ужасно хитрым человеком.

— Я не хитрый. — Сашка тоже вздохнул. — А улыбаюсь оттого, что мне хорошо.

— Почему это тебе хорошо?

— Не знаю. Хорошо, и все. Давай сядем.

Они сели на скамью в чахлом пустынном сквере. Скамейка была высокой, и Искра с удовольствием болтала ногами.

— Понимаешь, если рассуждать логически, то

жизнь одного человека представляет интерес только для него одного. А если рассуждать не по мертвой логике, а по общественной, то он, то есть человек…

— Знаешь? — вдруг чужим голосом сказал Сашка. — Ты не рассердишься, если я…

— Что? — почему-то очень тихо спросила Искра.

— Нет, ты наверняка рассердишься.

— Да нет же, Саша, нет! — Искра взяла его за руку и встряхнула, точно взбалтывая остатки смелости. — Ну же? Ну?

— Давай поцелуемся.

Наступила длинная пауза, во время которой Сашка чувствовал себя крайне неуютно. Сначала он сидел не шевелясь, пришибленный собственной отчаянной решимостью, потом задвигался, запыхтел, сказал угнетенно:

— Ну вот. Я же ведь просто так…

— Давай, — одними губами сказала Искра.

Сашка набрал побольше воздуха, потянулся. Искра подалась к нему, подставляя тугую прохладную щеку. Он прижался губами, одной рукой привлек ее к себе за голову и замер. Они долго сидели неподвижно, и Искра с удивлением слушала, как забилось сердце.

— Пусти… Ну же. — Она выскользнула.

— Вот… — тяжело вздохнул Сашка.

— Страшно, да? — шепотом спросила Искра. — У тебя бьется сердце?

— Давай еще, а? Еще разочек…

— Нет, — решительно сказала она и отодвинулась. — Со мной что-то происходит и… И я должна подумать.

С ней действительно что-то происходило, что-то новое, немного пугающее, и поцелуй был не причиной этого, а множителем, могучим толчком уже пришедших в движение сил. Искра догадывалась, что это за силы, но сердилась на них за то, что они пробудились раньше, чем им полагалось по ее разумению. Сердилась и теряла сь одновременно.

Наступило время личной жизни, и девочки встречали эту новую для них жизнь с тревогой, понимая, что она — личная и мамы. Жизнь эту нужно было встречать один на один: женщины, которые пробуждались в них так одинаково и так по-своему, жаждали самостоятельности, как все женщины во все времена.

И в этот тревожный и такой важный период своей жизни Искру потянуло не к Зиночке, которую она упорно считала девчонкой, а к Ви-

ке Люберецкой. Гордой Вике, которая — Искра чувствовала это — уже перешагнула рубеж, уже осознала себя женщиной, уже приноровилась к этому новому состоянию и гордилась им. В первую очередь им, а уж потом — своим знаменитым отцом. Так думала Искра, но являться без предупреждения не хотела, уловив во время первого визита неудовольствие хозяйки. И еще в классе сказала:

— Я хочу вернуть Есенина. Можно мне прийти сегодня?

— Приходи, — ответила Вика, не выразив никаких чувств.

Искре это не понравилось (она все же надеялась, что Вика обрадуется), но решимость ее не поколебалась. Сделав уроки в школе — она часто так поступала, потому что устные предметы зубрить нужды не было, а письменные можно было приготовить между делом, — забежала домой, оставила маме записку, взяла Есенина и пошла к Люберецким, с досадой ощущая некоторое волнение..

Вика ждала ее, открыла сразу, молча повесила пальтишко и так же молча пригласила в свою комнату. Там стояло огромное кресло, на которое хозяйка и указала, но сесть в него Искра не ре-

шилась. Она никогда еще не сидела в креслах и считала, что там ей будет неуютно.

— Спасибо, Вика, — сказала она, отдав книгу и усевшись на стул.

— Пожалуйста. — Вика, улыбаясь, смотрела на нее. — Надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи?

— Это замечательные стихи, — вздохнула Искра. — Я думаю, нет, я даже уверена, что скоро их оценят и Сергею Есенину поставят памятник.

— А какую надпись ты бы сделала на этом памятнике? Давай проведем конкурс: я буду сочинять свою надпись, а ты свою.

Они провели конкурс, и Вика тотчас признала, что Искра вышла победительницей, написав: «Спасибо тебе, сердце, которое билось для нас». Только слова «билось для» они дружно заменили на «болело за».

— Я никогда не задумывалась, что такое любовь, — как можно более незаинтересованно сказала Искра, когда они немного поболтали о школьных делах. — Наверное это стихи заставили меня задуматься.

— Папа говорит, что в жизни есть две святые обязанности, о которых нужно думать: для женщины — научиться любить, а для мужчины

— служить своему делу.

Искра переходила к тому, ради чего явилась, размышляла, как повернуть разговор, и только поэтому не вцепилась в этот тезис, как бульдог. Она пропустила его, про себя все же отметив, что для женщины служить своему делу так же важно, как и для мужчины, поскольку Великая Октябрьская революция раскрепостила рабу очага и мужа.

— Как ты представляешь счастье? — спросила Вика, потому что гостья погрузилась в раздумье.

— Счастье? Счастье — быть полезной своему народу.

— Нет, — улыбнулась Вика. — Это — долг, а я спрашиваю о счастье.

Искра всегда представляла счастье, так сказать, верхом на коне. Счастье — это помощь угнетенным народам, это уничтожение капитализма во всем мире, это — «я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать»; у нее перехватывало дыхание, когда она читала эти строчки. Но сейчас вдруг подумала, что Вика права, что это не есть счастье, а есть долг. И спросила, чтоб выиграть время:

— А как ты представляешь?

— Любить и быть любимой, — мечтательно

сказала Вика. — Нет, я не хочу какой-то особой любви: пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети. Трое: вот я — одна, и это невесело. Нет, два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы он стал… — Она хотела сказать «знаменитым», но удержалась. — Чтобы ему всегда было со мной хорошо. И чтобы мы жили дружно и умерли в один день, как говорит Грин.

— Кто?

— Ты не читала Грина? Я тебе дам, и ты обязательно прочтешь.

— Спасибо. — Искра задумалась. — А тебе не кажется, что это мещанство?

— Я знала, что ты это скажешь. — Вика засмеялась. — Нет, это никакое не мещанство. Это нормальное женское счастье.

— А работа?

— А ее я не исключаю, но работа — это наш долг, только и всего. Папа считает, что это разные вещи: долг — понятие общественное, а счастье — сугубо личное.

— А что говорит твой папа о мещанстве?

— Он говорит, что мещанство — это такое состояние человека, когда он делается рабом незаметно для себя. Рабом вещей, удобств, денег,

карьеры, благополучия, привычек. Он перестает быть свободным, и у него вырабатывается типично рабское мировоззрение. Он теряет свое «я», свое мнение, начинает соглашаться, поддакивать тем, в ком видит господина. Вот как папа объяснял мне, что такое мещанство как общественное явление. Он называет мещанами тех, для кого удобства выше чести.

— Честь — дворянское понятие, — возразила Искра. — Мы ее не признаем.

Вика странно усмехнулась. Потом сказала, и в тоне ее звучала грустная нотка:

— Я хотела бы любить тебя, Искра, ты — самая лучшая девочка, какую я знаю. Но я не могу тебя любить, и не уверена, что когда-нибудь полюблю так, как хочу, потому что ты максималистка.

Искре вдруг очень захотелось плакать, но она удержалась. Девочки долго сидели молча, словно привыкая к высказанному признанию. Потом Искра тихо спросила:

— Разве плохо быть максималисткой?

— Нет, не плохо, и они, я убеждена, необходимы обществу. Но с ними очень трудно дружить, а любить их просто невозможно. Ты, пожалуйста, учти это, ты ведь будущая женщина.

— Да, конечно, — Искра, подавив вздох, вста-

ла. — Мне пора. Спасибо тебе… За Есенина.

— Ты прости, что я это сказала, но я должна была сказать. Я тоже хочу говорить правду и только правду, как ты.

— Хочешь стать максималисткой, с которой трудно дружить? — насильственно улыбнулась Искра.

— Хочу, чтобы ты не ушла огорченной… — Хлопнула входная дверь, и Вика очень обрадовалась. — А вот и папа! И ты никуда не уйдешь, потому что мы будем пить чай.

Опять были конфеты и пирожные, которые так странно есть не в праздник. Опять Леонид Сергеевич шутил и ухаживал за Искрой, но был задумчив: задумчиво шутил и задумчиво ухаживал. И иногда надолго умолкал, точно переключаясь на какую-то свою внутреннюю волну.

— Мы с Искрой немного поспорили о счастье, — сказала Вика. — Да так и не разобрались, кто прав.

— Счастье иметь друга, который не отречется от тебя в трудную минуту. — Леонид Сергеевич произнес это словно про себя, словно был еще на той внутренней волне. — А кто прав, кто виноват… — Он вдруг оживился. — Как вы думаете, девочки, каково высшее завоевание справедливости?

— Полное завоевание справедливости — наш Советский Союз, — тотчас ответила Искра.

Она часто употребляла общеизвестные фразы, но в ее устах они никогда не звучали банально. Искра пропускала их через себя, она истово верила, и поэтому любые заштампованные слова звучали искренне. И никто за столом не улыбнулся.

— Пожалуй, это скорее завоевание социального порядка, — сказал Леонид Сергеевич. — А я говорю о презумпции невиновности. То есть об аксиоме, что человеку не надо доказывать, что он не преступник. Наоборот, органы юстиции обязаны доказать обществу, что данный человек совершил преступление.

— Даже если он сознался в нем? — спросила Вика.

— Даже когда он в этом клянется. Человек — очень сложное существо и подчас готов со всей искренностью брать на себя чужую вину. По слабости характера или, наоборот, по его силе, по стечению обстоятельств, из желания личным признанием облегчить наказание, а то и отвести глаза суда от более тяжкого преступления. Впрочем, извините меня, девочки, я, кажется, увлекся. А мне пора.

— Поздно вернешься? — привычно спросила Вика.

— Ты уже будешь видеть сны. — Леонид Сергеевич встал, аккуратно задвинул стул, поклонился Искре, озорно подмигнул дочери и вышел.

Искра возвращалась, старательно обдумывая и разговор о мещанстве и — особенно — о презумпции невиновности. Ей очень нравилось само название «презумпция невиновности», и она была согласна с Леонидом Сергеевичем, что это и есть основа справедливого отношения к человеку. И еще жалела, что не напомнила Вике о таинственном писателе с иностранной фамилией Грин.

Ожидаемого и столь необходимого разговора по душам не произошло: признание Вики, что она не любит ее, не просто огорчило, а уязвило Искорку. И дело здесь было не только в самолюбии (хотя и в нем тоже), дело заключалось в том, что сама Искра очень тянулась к Вике, чувствуя в ней умную и тонкую девушку. Тянулась к хорошим книгам и разговорам, к уюту большой квартиры, к удобному, налаженному быту, хотя, если б ей сказали об этом, она бы яростно, до гневных слез отрицала эту слабость. Но больше всего она тянулась к отцу Вики, к Леониду Сергеевичу

Люберецкому, потому что у самой Искры отца не было и в ее представлении Люберецкий был идеальнейшим из всех возможных отцов, которого, правда, надо было немножко перевоспитать. И Искра непременно бы его перевоспитала, если бы… Но никакого «если бы» не могло быть, а пустыми мечтаниями Искорка не занималась. И ей было немножко грустно.

Дома Искру ждали стакан молока, кусок хлеба и записка. Мама писала, что проводит ответственное заседание, придет поздно и что дочери следует лечь спать вовремя и не читать в постели романов: последнее слово было подчеркнуто. Искра поделилась ужином с соседской кошкой, проверила, все ли уроки сделаны, и решила вдруг написать статью для очередного номера школьной стенгазеты.

Она писала о доверии к человеку, пусть даже маленькому, пусть даже к первоклашке. О вере в этого человека, о том, как окрыляет эта вера, какие чудеса может сделать человек, уверовавший, что в него верят. Она вспомнила — очень кстати, как ей показалось. — Макаренко, когда он доверил Карабанову деньги, и каким замечательным парнем стал потом Карабанов. Она разъяснила, что такое «презумпция невиновности». Перечи-

тав и кое-что поправив, начисто переписала и положила на мамин стол: она всегда согласовывала с мамой свои статьи. Потом постелила постель, погасила свет — последнее время она почему-то стала стесняться раздеваться при свете, — надела ночную рубашку, снова зажгла лампу и юркнула под одеяло. Достала припрятанного Дос Пассоса и стала читать, настороженно прислушиваясь, не хлопнет ли входная дверь.

То ли оттого, что приходилось прислушиваться, то ли оттого, что мысли о виновности и невиновности, о доверии и недоверии не вылезали из головы, то ли потому, что тело, освобожденное от пояска и лифчика, жило особой раскрепощенной жизнью, то ли от всех причин разом читать она долго не смогла. Заботливо спрятав книжку, легла на бок, подсунув под щеку ладошку и тотчас же уснула.

Ей показалось, что разбудили ее мгновенно, только-только начался сон. Открыла глаза: над нею стояла мама.

— Надень халат и выйди ко мне.

Искра вышла, позевывая, теплая и розовая ото сна.

— Что это такое?

— Это? Это статья в стенгазету.

— Кто тебя надоумил писать ее?

— Никто.

— Искра, не ври, я устала, — тихо сказала мать, хотя прекрасно знала, что Искра никогда не врала даже во спасение от солдатского ремня.

— Я не вру, я написала сама. Я даже не знала, что напишу ее. Просто села и написала. По-моему, я хорошо написала, правда?

Мать не стала вдаваться в качество работы. Пронзительно глянула, прикурила, энергично ломая спички.

— Кто рассказал тебе об этом?

— Леонид Сергеевич Люберецкий.

— Рефлексирующий интеллигент! — Мать коротко рассмеялась. — Что он еще тебе наговорил?

— Ничего. То есть говорил, конечно. О справедливости, о том, что…

— Так вот. — Мать резко повернулась, глаза сверкнули знакомым холодным огнем. — Статьи ты не писала и писать не будешь. Никогда.

— Но ведь это несправедливо…

— Справедливо только то, что полезно обществу. Только это и справедливо, запомни!

— А как же человек? Человек вообще?

— А человека вообще нет. Нет! Есть гражданин,

обязанный верить. Верить!

Отвернулась, нервно зачиркала спичкой о коробок, не замечая, что вовсю дымит зажатой в зубах папиросой.

Глава пятая

Зиночке снилось, что ее целует взрослый мужчина. Это было жутко, прекрасно, но не страшно, потому что где-то находилась мама; Зина знала, что она близко и можно позвать на помощь, и — не звала. Сон кончился, а с ним кончились и поцелуи, и Зина крепко зажмурилась, чтобы ее поцеловали еще хотя бы разочек.

Проснуться все же пришлось. Не открывая глаз, она ногами отбросила одеяло, дождалась, пока чуточку остынет, и села. И сразу увидела ужасную вещь: вместо летних трусиков, так ловко охватывающих тело, на стуле лежали противные трикотажные штанищи длиною аж до коленок. И весь сон, вся радость утра и вся прелесть нового дня пропали разом. Схватив штанишки, Зина в одной рубашке ринулась на кухню.

— Мама, что это такое? Ну, что это такое?

Родители завтракали, и она осталась за дверью, просунув на кухню голову и руку.

— Первое октября, — спокойно сказала мама. — Пора носить теплое белье.

— Но я уже не маленькая, кажется!

— Ты не маленькая, но это только так кажется.

— Ну почему, почему мне такое мученье! — с отчаянием воскликнула дочь.

— Потому что ты садишься где попало и можешь застудиться.

— Не бунтуй, Зинаида, — улыбнулся отец. — Мы не в Африке, надевай, что климатом положено.

— Это мамой положено, а не климатом! — закричала Зиночка. — Все девочки, как девочки, а я у вас как уродина.

— Сейчас ты и вправду уродина. Немытая, нечесаная и неодетая.

Горестно всхлипнув, Зина убежала. Мать с отцом посмотрели друг на друга и улыбнулись.

— Растет наша девочка, — сказала мать.

— Невеста! — добавил отец.

Они любили свою младшую больше остальных, старательно скрывали это и воспитывали дочь в строгости. Зина до сих пор ложилась спать в половине одиннадцатого, не появлялась в кино на последних сеансах, а в театрах бывала только на дневных спектаклях. Этот регламент (куда входили и злосчастные зимние штанишки) никогда очень-то не угнетал ее, но в последнее время она все чаще начинала скандалить. Скандалы, правда, зримых результатов не давали, но мать с

отцом улыбались уже особо, с гордостью замечая, как взрослеет дочь. Семья была дружная, а после выхода старших замуж сплотилась еще больше. Все обсуждалось и решалось сообща, но, как это часто бывает в русских семьях, мать незаметно, без видимых усилий и демонстративного подчеркивания, держала вожжи в своих руках.

— Никогда не обижай мужа, девочка. Мужчины очень самолюбивы и болезненно переживают, когда ими командуют. Всегда надо быть ровной, ласковой и приветливой, не отказывать в пустяках и стараться поступать так, будто ты выполняешь его желания. Наша власть в нежности.

Мама неторопливо и осторожно готовила Зину к будущей семейной жизни. Зина знала многое из того, что надо было бы знать всем девочкам, и спокойно восприняла переход от детства к девичеству, не испытав свойственного многим потрясения.

Отец в воспитание не вмешивался. Он работал мастером на заводе вместе с отцом и братьями Артема, состоял членом завкома, вел кружок по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» и вообще был по горло занят. В редкие свободные часы он толковал с дочерью о международных

проблемах. Зиночка слушала очень вежливо, помня о маминых словах, что мужчины болезненно самолюбивы, но все пропускала мимо розовых ушей.

Завтракала Зина в мрачном настроении, однако к концу завтрака жизнь перестала казаться трагической. Она весело чмокнула мать — отец уже ушел на работу — рассеянно выслушала очередные задания (простирнуть, подмести, убрать) и выскочила за дверь. И как только дверь захлопнулась, швырнула портфель, задрала платье и подтянула штанишки вверх до предела. Ноги там, естественно, были толще, резинки больно врезались в тело, но Зиночка хотела быть красивой. Совершив эту процедуру, она показала дверям язык и, взяв портфель, вприпрыжку — она еще иногда бегала вприпрыжку, когда забывалась, — помчалась в школу.

Но уже за углом Зиночка круто сменила аллюр, перейдя на решительный шаг чрезвычайно занятого человека: навстречу шел Юра. Красавец Юра из 10 «А», бессменный староста и бездельник.

— Привет, — сказал он и пошел рядом.

— Привет, — сказала она как можно безразличнее.

— Что вечером делаешь?

— Еще не знаю, но буду очень занята.

— Может, в кино пойдем? — Юра продемонстрировал два билета. — Мировой фильм. По блату на последний сеанс.

Зиночка мгновенно прикинула: мама во второй смене, придет не раньше двух, отец… Ну, отец — это еще можно вывернуться.

— Или тебя, как малышку, в девять часов спать загоняют?

— Вот еще! — презрительно фыркнула Зина. — Просто решаю, как отказать одному человеку. Ладно, после уроков решу.

— Ты скажи, пойдешь или нет?

— Пойду, но скажу после уроков. Тебе ясно? Ну и топай вперед, я не хочу никаких осложнений.

Никаких особых осложнений не ожидалось, но Зина считала, что надо набить себе цену. Озадаченный красавец увеличил шаг. Зиночка, торжествуя, укоротила свой, и они прибыли в школу на вполне приличном расстоянии друг от друга.

Тут уж было не до учебы. Уроки тянулись с таким занудством, будто в них не сорок пять минут, а сорок четыре часа. Зиночка страдала, вздыхала, вертелась, схлопотала три замечания, а когда прозвенел последний звонок, вдруг пришла в

ужас и не могла двинуться с места.

— Пошли, — позвала Искра. — Я вычитала одну интересную мысль. Да что с тобой?

— Ничего со мной. — Зина продолжала сидеть как истукан.

— А почему ты сидишь?

— Потому что мне надо к врачу. — Она сказала первое, что пришло в голову. — То есть сначала к маме, а уж потом… Куда поведут.

И Артем, как назло, не уходил. Спорил о чем-то со своим Жоркой, а на нее и не смотрел. «Эх, знал бы, с кем я в кино иду, небось посмотрел бы!» — злорадно подумала Зина.

Не добившись толку от подруги, Искра ушла. А вскоре удалились и Артем с Ландысом, и Зина осталась одна. Тихо подкралась к окну и выглянула: на опустевшем школьном дворе одиноко маячил Юра.

— Ждет! — шепотом сказала Зиночка и даже пискнула от восторга.

Схватив портфель, опрометью вылетела из класса, промчалась по гулким коридорам, но возле входной двери остановилась. Предстать перед Юрой следовало спокойной, усталой и равнодушной. У Зиночки не было никакого опыта в свиданиях, и все, что она делала сейчас, основы-

валось на интуиции. Она не размышляла — она действовала именно так, потому что по-иному действовать не могла.

— Привет.

— Чего это Артем на меня зверем смотрит? — спросил Юра.

— Не знаю, — несколько опешила Зина: она ожидала другого начала разговора.

— Ну, так как насчет кино? — Юра угасил смутные опасения, и глаза его вновь обрели влажную поволоку.

— Уладила, — небрежно бросила Зина. — Когда и где?

— Давай в полдесятого у «Коминтерна», а?

— Договорились, — отважно сказала Зина, хотя сердце ее екнуло.

— Я провожу тебя?

— Ни в коем случае! — гордо отказалась она и пошла, больше всего на свете интересуясь собственной спиной.

Так она к удалилась и, кто знает, может, всю дорогу до самого дома несла бы взгляд красивого мальчика на своей спине, если бы не встретила Лену Бокову. Лена готовилась в артистки, занималась у старенькой и очень заслуженной актрисы, а теперь бежала навстречу, смахивая слезы и

некрасиво шмыгая носом.

— Ментика будочники забрали!

— А ты где была?

— А я и не заметила. Я разговаривала с одним человеком, потом он ушел, и мальчишки сказали, что Ментика будочники увезли.

Ментик принадлежал заслуженной артистке, довольно болезненной старушке, возле которой вечно суетились подрастающие таланты.

— А болтала ты, конечно, с Пашкой Остапчуком… — Зиночка не могла удержаться, несмотря на весь трагизм.

— Господи, да какая разница! Ну, с Пашкой, ну…

— А куда ты бежишь?

— Не знаю. Может, к Николаю Григорьевичу. Ты представляешь, что будет с ней? У нее же нет никого, кроме Ментика!

— К Искре! — воскликнула Зина, мгновенно забыв о приглашении в кино, влажных взглядах и собственной равнодушной спине.

Они побежали к Искре, и по дороге Лена вновь поведала историю исчезновения пса, а потом перед Искрой проиграла ее в лицах.

— Они с них сдирают шкуру, — свирепо уточнила Зина.

— Не болтай чепухи, они продают их в научные институты, — авторитетно заявила Искра. — А раз так, значит, должен быть какой-то магазин или собачий склад: это ведь не частная лавочка.

— Нам надо спасать Ментика, — сказала Лена. — Понимаешь, надо! Он пропал по моей вине и вообще…

— Надо идти в милицию, — решила Искра. — Милиция знает все.

— Ой, не надо бы путать сюда милиционеров, — вздохнула Зиночка. — А то они привыкнут к нашим лицам и станут здороваться на улицах. Представляешь, ты идешь… с папой, а тебе постовой говорит: «Здрасьте!»

— Что меня угнетает, Зинаида, так это то меня угнетает, какой чушью набита твоя голова, — озабоченно сказала Искорка, надевая пальтишко. И тут же прикрикнула на Лену: — Не реви! Теперь надо действовать, а реветь будете в милиции, если понадобится.

В милиции им не повезло. Хмурый дежурный, не дослушав, отрубил:

— Собаками не занимаемся.

— А кто занимается? — настойчиво добивалась Искра. — Нет, вы нам, пожалуйста, объясните. Ведь кто-то должен же знать, куда свозят пой-

манных собак?

— Ну, не знаю я, не знаю, понятно?

— Тогда скажите, куда нам обращаться, — не унималась Искра, хотя Лена уже показывала глазами на дверь. — Вы не имеете права отказывать гражданам в справке.

— Тоже нашлись граждане!

— Да, мы советские граждане со всеми их правами, кроме избирательного, — с достоинством сообщила Искра, ободряюще взглянув на притихших подруг. — И мы очень просим вас помочь старой заслуженной актрисе.

— Вот какая настырная девочка! — в сердцах воскликнул дежурный. — Ну, иди в горотдел, может, они чего знают, а меня уволь. Дети, собаки, старухи — с ума с вами сойдешь.

— Спасибо, — вежливо сказала Искорка. — Только с ума вы не сойдете, не надейтесь.

— Здорово ты его! — восторженно засмеялась Зина, когда они вышли из милиции.

— Стыдно, — вздохнула Искра. — Очень мне стыдно, что не сдержалась. А он старенький. Значит, я скверная сквалыга.

В горотделе милиции за дубовой стойкой сидел молодой милиционер, и это сразу решило все вопросы. Недаром Искра была убеждена, что

следует смело опираться на молодежь.

— Кольцовская, семнадцать. Собак бродячих туда забирают.

— У нас не бродячая, — сказала Лена.

— Не бродячая, значит, отдадут.

Они побежали на Кольцовскую, семнадцать, но там все уже было закрыто. Угрюмый косматый сторож в драном тулупчике в разговоры вступать не стал:

— Зачинено-заборонено!

— Но нам нельзя без собаки, понимаете, просто невозможно, — умоляла Лена. — Там старая актриса, заслуженная женщина…

— Зачинено-заборонено.

— Послушайте, — твердо сказала Искра. — Мы будем жаловаться.

— Зачинено-заборонено, — тупо бормотал сторож.

— А сколько стоит, чтобы разборонить? — вдруг звонко спросила Зиночка.

Сторож впервые глянул заинтересованно. Засмеялся, погрозил корявым пальцем:

— Ай, девка, далеко пойдешь.

— Не смей давать взяток, — шипела Искра. — Взятка унижает человеческую личность.

— Трояк! — воодушевленно заорал сторож. —

Как просить, так все у Савки, а как дать, так нету их.

Девочки растерянно переглядывались: денег у них не было.

— Вот, вот, — ворчал сторож. — Чирей, и тот бесплатно не вскочит.

— Артем близко живет, — вспомнила Искра. — Беги, Зинаида! В долг: завтра в классе соберем!

Последние слова она прокричала вслед, потому что Зиночка с места взяла в карьер — только коленки замелькали.

— Их кормят тут? — спросила Лена.

— Зачем? — удивился сторож. — Они друг дружку едят.

— Ужас какой, — тоскливо вздохнула будущая актриса… — Каннибализм.

Задыхаясь, Зина постучала, но дверь открыл не Артем, а его мама.

— А Тимки нет, он ушел к Жоре делать уроки.

— Ушел? — растерянно переспросила Зина.

— Проходи, девочка, — сказала мама Артема, внимательно посмотрев на нее. — И рассказывай, что случилось.

— Случилась ужасная вещь.

И Зиночка торопливо, но обстоятельно все рассказала. Мама молча достала деньги, отдала, а

Зину задержала.

— Мирон, поди-ка сюда!

В кухню вошел большой и очень серьезный отец Артема, и Зина почему-то струхнула. Уж очень насупленными были его брови, уж очень уважительно он пожал ей руку.

— Расскажи еще раз про собаку.

И Зина еще раз, правда, короче, рассказала про Ментика и сторожа.

— А тулупчик у него весь рваный. Его, наверное, собаки не любят.

— Ты будешь сорить деньгами, когда вырастешь. — Отец отобрал три рубля и вернул маме. — Это не такой уж страшный грех, но твоему мужу придется нелегко. Я схожу сам, а то как бы этот пропивоха не обидел девочек.

— Заходи к нам, Зина, — сказала мама, прощаясь. — Нам с отцом очень нравится, что ты дружишь с Тимкой.

— Артем — хороший парень, — говорил по дороге отец. — Знаешь, почему он хороший? Он потому хороший, что никогда не обидит ни одной женщины. Не знаю, будет ли у него счастливая жизнь, но знаю, что у него будет очень счастливая жена. Я не скажу этих слов ни про Якова, ни про Матвея, но про Артема повторю и перед богом.

Зине было очень стыдно, что она идет в кино не с Артемом. Но она утешала себя: мол, это единственный разочек и больше никогда не повторится.

— Я слышал, ты обижаешь девочек, Савка? — грозным басом еще издали закричал отец Артема. — Ты с них берешь контрибуцию, как сам Петлюра?

— А кто это? — вглядываясь, юлил сторож. — Зачинено-забо… Господи, да это ж Мирон Абрамыч! Здрасьте, Мирон Абрамыч, наше вам.

— Отчиняй ворота и отдай девочкам собаку. Но-но, только не говори мне свои сказки. Я тебя знаю пятнадцать лет, и за эти пятнадцать лет ты не стал лучше ни на один день. Вытрите слезы, девочки, и получите собаку.

Сторож без разговоров открыл калитку. Ментик был найден среди лая, воя и рычания. Девочки долго благодарили, а потом разбежались: Лена потащила Ментика к заслуженной артистке, а Искра и Зина разошлись по домам. И никто из девочек не знал, что этот день был последним днем их детства, что отныне им предстоит плакать по другим поводам, что взрослая жизнь уже ломится в двери и что в этой взрослой жизни, о которой они мечтали, как о празднике, горя будет

куда больше, чем радостей.

Но пока радостей было достаточно, и если судить беспристрастно, то и самый мир был соткан из радостей — во всяком случае, для Зиночки.

Мало того что она сыграла главную роль при спасении песика и тем немножечко посрамила Искру, — дома оказался один папа, из которого Зина без труда выпотрошила, что вернется он не раньше часа ночи, так как его внезапно вызвали на завод. Грешный путь был свободен, и Зиночка пошла на первое свидание. Ей хотелось кричать на весь мир, но она все же не решилась этого сделать и поведала распиравшую ее тайну только знакомой кошке, имевшей большой опыт по части свиданий. Кошка выгнула спину, мурлыкнула и указала хвостом на крышу. Зина решила, что она указывает прямехонько на небо, и сочла это за добрый знак.

Она пришла раньше времени, но Юра был уже на посту. Увидев его, Зиночка тут же юркнула за рекламный щит и проторчала там лишних пять минут, пока полностью не насладилась триумфом. Новоявленный поклонник не сходил с места, но отчаянно вертел головой.

— Вот и я! — сказала Зиночка как ни в чем не бывало.

Они прошли в фойе, где староста 10 «А» угостил ее мороженым и ситро. Пить ей не хотелось, но она честно выпила свою половину, потому что это была не просто сладкая вода, а ритуальное подношение, и тут надо было вкушать и наслаждаться не сладостями, а вниманием, как настоящая женщина. И Зиночка наслаждалась, не забывая, впрочем, посматривать по сторонам, так как очень боялась встретить знакомых. Но знакомых не было, а тут прозвенел звонок, и они пошли в зал.

Фильма Зина почти не запомнила, хотя он, наверное, был интересным. Она честно смотрела на экран, но все время чувствовала, что рядом сидит не мама, не Искра, даже не парень из класса, а молодой человек, заинтересованный в ней больше, чем в фильме. Эта заинтересованность очень волновала: уголком глаза она ловила взгляды соседа, слушала его шепот, но только улыбалась, не отвечая, поскольку не понимала, что он шепчет и что следует отвечать. Дважды он хватал ее за руку в самых патетических местах, и дважды она высвобождалась, правда, не сразу и второй раз медленней первого. И все было таинственно и прекрасно, и сердце ее замирало, и Зиночка чувствовала себя на верху блаженства.

Возвращались по заросшей каштанами улице Карла Маркса, огрубевшие листья тяжело шумели над головами. И казалось, что весь город и весь мир давно уже спят, и только девичьи каблучки молодо и звонко взрывают сонную тишину. Юра рассказывал что-то, Зина смеялась и тут же намертво забывала, над чем она смеялась. Это было не главное, а главное он сказал позже. То есть не самое главное, а как бы вступление к нему:

— Посидим немного? Или ты торопишься?

Честно говоря, Зина уже отсчитывала время, но, по ее расчетам, кое-что еще имелось в запасе.

— Ну, не здесь же.

— А где?

Зина знала где: перед домом Вики Люберецкой в кустах стояла скамейка. Если б что-нибудь — ну, что-нибудь не так! — она могла бы заорать и вышла бы либо Вика, либо ее папа. Зиночка была ужасно хитрым человеком.

Они нашли эту скамейку, и Зина все ждала, когда же он начнет говорить то, что ей так хотелось услышать, что он давно ею любуется и что она вообще лучше всех на свете. А вместо этого он схватил ее руки и начал тискать. Ладони у него были влажными, Зине было неприятно, но она терпела. Заодно она терпела и жуткую боль

от перетянутых резинками бедер; ей все время хотелось сдвинуть врезавшиеся в тело резинки, но при мальчике это было невозможно, и она терпела, потому что ждала. Ждала, что вот…

К подъезду бесшумно подкатила большая черная машина. Молодые люди отпрянули друг от друга, но сообразили, что их не видно. Четверо мужчин вышли из машины: трое сразу же направились в дом, а четвертый остался. И Юра опять медленно придвинулся, опять стал осторожно тискать ее руки. Но Зине почему-то сделалось беспокойно, и руки она вырвала.

— Ну, что ты? Что? — обиженно забубнил десятиклассник.

— Подожди, — сердито шепнула Зина.

Показалось или она действительно слышала крики Вики? Она старательно прислушивалась, но резинки нестерпимо жгли бедра, а этот противный балбес пыхтел в уши. Зиночка отъехала от него, но он тут же поехал за ней, а дальше скамейка кончалась, и ехать Зине было некуда.

— Да отодвинься же! — зло зашипела она. — Пыхтишь, как бегемот, ничего из-за тебя не слышно.

— Ну и черт с ними, — сказал Юра и опять взял ее за руку.

— Тихо сиди! — Зиночка вырвала руку.

И снова показалось, что крикнули за тяжелыми глухими шторами, не пропускавшими ни звука, ни света. Зина вся напряглась, навострив уши и сосредоточившись. Ах, если бы вместо Юрки сейчас была Искра!..

— Господи, — вдруг прошептала она. — Ну почему же так долго?

Она и сама не знала, как сказала эти слова. Она ни о чем таком не думала тогда (исключая, конечно, ограбление и возможное насилие над Викой), но интуиция у нее работала с дьявольской безошибочностью, ибо она была настоящей женщиной, эта маленькая Зиночка Коваленко.

Распахнулась дверь подъезда, и на пороге показался Люберецкий. Он был без шляпы, в наброшенном на плечи пальто и шел не обычным быстрым и упругим шагом, а ссутулившись, волоча ноги. За ним следовал мужчина, а второй появился чуть погодя, и тут же в незастегнутом халатике выбежала Вика.

— Папа! Папочка!..

Она кричала на всю сонную, заросшую каштанами улицу, и в крике ее был такой взрослый ужас, что Зина обмерла.

— Понятых позови! — бросил на ходу сопро-

вождавший Люберецкого. — Не забудь!

— Папа! — Вика рванулась, но второй удержал ее. — Это неправда, неправда! Пустите меня!

— Телеграфируй тете. Вика! — Люберецкий не обернулся. — А лучше поезжай к ней! Брось все и уезжай!

— Папа! — Вика, рыдая, билась в чужих руках. — Папочка!

— Я ни в чем не виноват, доченька! — закричал Люберецкий. Его заталкивали в машину, а он кричал. — Я ни в чем не виноват, это какая-то ошибка! Я — честный человек, честный!..

Последние слова он прокричал глухо, уже из кузова. Резко хлопнули дверцы, машина сорвалась с места. Оставшийся мужчина оттеснил Вику в дом и закрыл дверь.

И все было кончено. И снова стало тихо и пусто, и только железно шелестели огрубевшие каштановые листья. А двое еще продолжали сидеть на укромной скамейке, растерянно глядя друг на друга. Потом Зина вскочила и бросилась бежать. Она летела по пустынным улицам, но сердце ее стучало не от бега. Оно застучало тогда, когда она увидела Люберецкого, и ей тоже, как и Вике, хотелось сейчас кричать: «Это неправда! Неправда! Неправда!..»

Она забарабанила в дверь, не думая, что может разбудить соседей. Открыла мама Искры: видно, только пришла.

— Искра спит.

— Пустите! — Зина юркнула под рукой матери, ворвалась в комнату. — Искра!..

— Зина? — Искра села, прикрываясь одеялом и с испугом глядя на нее. — Что? Что случилось, Зина?

— Только что арестовали папу Вики Люберецкой. Только что, я сама видела.

Сзади раздался смех. Жуткий, без интонаций — смеялись горлом. Зина оглянулась почти с ужасом: у шкафа стояла мать Искры.

— Мама, ты что? — тихо спросила Искра.

Мать уже взяла себя в руки. Шагнула, качнувшись, тяжело опустилась на кровать, прижала к себе две девичьи головы — темно-русую и светло-русую. Крепко прижала, до боли.

— Я верю в справедливость, девочки.

— Да, да, — вздохнула дочь. — Я тоже верю. Там разберутся, и его отпустят. Он же не враг народа, правда?

— Я очень хочу заплакать — и не могу, — с жалкой улыбкой призналась Зина. — Очень хочу и очень не могу.

— Спать, — сказала мать и встала. — Ложись с Искрой, Зина, только не болтайте до утра. Я схожу к твоим и все объясню, не беспокойся.

Мама ушла. Девочки лежали в постели молча. Зиночка смотрела в темный потолок сухими глазами, а Искра боялась всхлипывать и лишь осторожно вытирала слезы. А они все текли и текли, и она никак не могла понять, почему они текут сами собой. И уснула в слезах.

А родители их в это время сидели возле чашек с нетронутым, давно остывшим чаем. В кухне слоился дым, в пепельнице громоздились окурки, но мама Зины, всегда беспощадно боровшаяся с курением, сегодня молчала.

— Детей жалко, — вздохнула она.

— Дети у нас дисциплинированны и разумно воспитаны. — У матери Искры вдруг непроизвольно задергалась щека, и она начала торопливо дымить, чтобы скрыть эту предательскую дрожь. — Они поймут. Они непременно поймут.

— Я этого товарища не знаю, — неуверенно заговорил Коваленко, — но где тут смысл, скажите мне? Признанный товарищ, герой гражданской войны, орденоносец. Ну, конечно, бывал за границей, бывал, мог довериться. Дочку сильно любит, одна она у него, Зина рассказывала.

Он ни словом не обмолвился, что сомневается в правомерности ареста, но все его существо возмущалось и бунтовало, и скрыть этого он не мог. Мать Искры остро глянула на него:

— Значит, есть данные.

— Данные, — тихо повторил Коваленко. — А оно вон как. Ошибки не допускаете?

— Я позвонила одному товарищу, а он сказал, что поступил сигнал. Утром я уточню. Люберецкий — руководитель, следовательно, обязан отвечать за все. За все сигналы.

— Это безусловно, это, конечно…

И опять нависла тишина, тяжелая, как чугунная баба.

— Что с девочкой-то будет? — вздохнула мать Зины. — Пока разберутся… А матери у нее нет, ой несчастный ребенок, несчастный ребенок.

Андрей Иванович прошелся по кухне, поглядывая то на жену, то на мрачно курившую гостью. Присел на краешек стула.

— Нельзя ей одной, а, Оля? — Не ожидая ответа, повернулся к гостье. — Мы, конечно, не знаем, как там положено в таких случаях, так вы поправьте. Извините, как по имени-отчеству?

— Зовите товарищем Поляковой. Относительно девочки к себе я думала, да разве у меня семья?

Я собственную дочь и то… — Она резко оборвала фразу, прикурила дымившую папиросу. — Берите. У вас нормально, хорошо у вас.

Встала, с шумом отодвинув стул, точно шум этот мог заглушить ее последние слова. Ее слабость, вдруг прорвавшуюся наружу. Пошла к дверям, привычно оправляя широкий ремень. Коваленко вскочил, но она остановилась. Посмотрела на мать Зины, усмехнулась невесело:

— Иногда думаю: когда же надорвусь? А иногда — что уже надорвалась. — И вышла.

Девочки спали, но видели тревожные сны: даже у Зиночки озабоченно хмурились брови. Мать Искры долго стояла над ними, нервно потирая худые щеки. Потом поправила одеяло, прошла к себе, села за стол и закурила.

Синий дым полз по комнате, в окна пробивался тусклый осенний рассвет, когда мать Искры, которую все в городе знали только как товарища Полякову, затушила последнюю папиросу, открыла форточку, достала бумагу и решительным размашистым почерком вывела в верхнем правом углу:

В
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ).

Она писала быстро, потому что письмо было продумано до последнего слова. Фразы ложились одна к одной без помарок, легко и точно, и, когда лист заполнился, осталось лишь поставить подпись. Но она отложила ручку, вновь внимательно прочитала написанное, вздохнула, подписалась и указала номер партбилета и дату вступления: 1917 год.

Глава шестая

В то утро Коваленки впервые за много лет завтракали в полной тишине. И не только потому, что Зиночки не было на привычном месте.

— Я с работы отпрошусь часа на два, — сказал Андрей Иванович.

— Да, конечно, — тотчас же согласилась жена.

Ровно в двенадцать Коваленко вошел в кабинет директора школы Николая Григорьевича. И замер у двери, потому что рядом с директором школы сидела мать Искры Поляковой.

— Триумвират, — усмехнулась она. — Покурим, повздыхаем и разойдемся.

— Чушь какая-то! — шумно вздохнул директор. — Это же чушь, это же нелепица полная!

— Возможно, — Полякова кивнула коротко, как Искра. — Поправят, если нелепица.

— Пока поправят, девочка, что же, одна будет? — тихо спросил Коваленко у директора. — Может, написать родным, а ее к нам пока, а? Есть насчет этого указания?

— Что указания, когда она — человек взрослый, паспорт на руках. Предложите ей, хотя сомнева-

юсь, — покачал головой директор. — А родным написать надо, только не в этом же дело, не в этом!

— Так ведь одна же девочка…

— Не в этом, говорю, дело, — жестко перебил Ромахин. — Вот мы трое — коммунисты, так? Вроде как ячейка. Так вот, вопрос ребром: верите Люберецкому? Лично верите?

— Вообще-то, конечно, я этого товарища не знаю, — мучительно начал Коваленко. — Но, думаю, ошибка это. Ошибка, потому что уж очень дочку любит. Очень.

— А я так уверен, что напутали там. И Люберецкому я верю. И товарищ Полякова тоже так считает. Ну, а раз мы, трое большевиков, так считаем, то наш долг поставить в известность партию. Правильно я мыслю, товарищ Полякова?

Мать Искры помолчала. Постучала папиросой о коробку, сказала наконец:

— Прошу пока никуда не писать.

— Это почему же? — нахмурился Николай Григорьевич.

— Кроме долга существует право. Так вот, право писать о Люберецком есть только у меня. Я знала его по гражданской войне, по совместной работе

здесь, в городе. Это аргументы, а не эмоции. И сейчас это главное: требуются аргументы. Идет предварительное следствие, как мне объяснили, и на этом этапе пока достаточно моего поручительства. Поэтому никакой самодеятельности. И еще одно: никому о нашем разговоре не говорите. Это никого не касается.

Искра тоже считала, что это никого не касается. И утром распорядилась:

— Никому ни слова. Смотри у меня, Зинаида.

— Ну, что ты, я же не идиотка.

Вика в школу не пришла, а так все было, как обычно. Мыкался у доски Артем, шептался со всем классом Жорка Ландыс, читал на переменках очередную растрепанную книгу тихий отличник Вовик Храмов. А в середине дня поползли слухи:

— У Вики Люберецкой отца арестовали.

Искра узнала об этом из записки Ландыса. На записке стоял огромный вопросительный знак и резолюция Артема: «Брехня!» Искра показала записку Лене (она сидели за одной партой). Лена охнула.

— Что за вздохи? — грозно спросила Валентина Андроновна. — Полякова, перестань шептаться с Боковой, я все вижу и слышу.

— Значит, не все, — неожиданно резко отве-

тила Искра.

Это было новостью: она не позволяла себе грубить и в более сложных обстоятельствах. А здесь — пустяковое замечание, и вдруг понесло.

— Из Искры возгорелось пламя! — громко прошептал Остапчук.

Лена так посмотрела, что он сразу увял. Искра сидела опустив голову. Валентина Андроновна оценивала ситуацию.

— Продолжим урок, — спокойно сказала она. — Ландыс, ты много вертишься, а следовательно, многое знаешь. Вот и изволь…

Искра внезапно вскочила, со стуком откинув крышку парты:

— Валентина Андроновна, разрешите мне выйти.

— Что с тобой? Ты нездорова?

— Да. Мне плохо, плохо!

И, не ожидая разрешения, выбежала из класса. Все молчали. Артем встал.

— Садись, Шефер. Ты же не можешь сопровождать Полякову туда, куда она побежала.

Шутка повисла в воздухе — класс молчал. Артем, помявшись, сел, низко опустив голову. И тут поднялась Бокова.

— Я могу ее сопровождать.

— Что происходит? — повысила голос Валентина Андроновна. — Нет, вы объясните: что это, заговор?

— С моей подругой плохо, — громко заявила Лена, — разрешите мне пройти к ней, или я уйду без разрешения.

Валентина Андроновна растерянно оглядела класс. Все сейчас смотрели на нее, но смотрели без всякого любопытства, не ожидая, что она сделает, а как бы предупреждая, что, если сделает не так, класс просто-напросто встанет и уйдет, оставив разве что Вовика Храмова.

— Ну иди, — плохо скрыв раздражение, сказала она. — Все стали ужасно нервными. Не рано ли?

Лена вышла. Ни она, ни Искра так и не появились до конца урока. А как только прозвенел звонок, в класс влетела Бокова.

— Сергунова Вера, встань у нашей уборной и не пускай никого. Коваленко, идем со мной.

Ничего не понимающая Зиночка под конвоем Лены проследовала в уборную, уже охраняемую самой рослой и бойкой девочкой 9 «Б» класса. У окна стояла Искра.

— Читай. Вслух: Лена все знает.

— А чья это записка?

Подруги смотрели сурово, и Зина замолчала.

Взяла записку, громко, как ведено, начала:

— «Болтают, что сегодня ночью арестовали отца Вики...» — Она запнулась, подняла глаза. — Это не я.

— А кто?

— Ну не я же, господи! — с отчаянием выкрикнула Зина. — Честное комсомольское, девочки. Не я, не я, не я!

— А кто? — допытывалась Искра. — Если не ты, то кто?

Зиночка подавленно молчала.

— Я сейчас отколочу ее! — крикнула Лена. — Она предатель. Иуда она проклятая!

— Подожди. — Искра не отрывала от Зины глаз. — Я спрашиваю тебя, Коваленко, кто мог натрепаться, кроме тебя? Молчишь?

— Ух, как дам сейчас! — Лена потрясла крепко сжатым кулаком.

— Нет, мы не будем ее бить, — серьезно сказала Искра. — Мы всем, всей школе расскажем, какая она. Она не женщина, она — средний род, вот что мы скажем. Мы объявим ей такой бойкот, что она удавится с тоски.

В дверь уборной время от времени ломились, но рослая Вера пока сдерживала натиск.

— Пусти их, — сказала Искра. — Это третье-

клашки, они в штаны могут написать.

— Обождите! — с отчаянной решимостью выпалила Зина. — Я знаю, кто натрепал: Юрка из десятого «А». Я не одна была у дома Вики.

Девочки недоверчиво переглянулись и снова проницательно уставились на нее. Зина посмотрела на них и встала на колени.

— Пусть у меня никогда не будет детей, если я сейчас вру.

— Встань, — сказала Искра. — Я верю тебе. Лена, Артема сюда.

— Сюда нельзя.

— Ах, да. Тогда узнай, сколько у Юрки уроков. Пойдем, Зина. Прости нас и не реви.

— Я не реву, — вздохнула Зина. — Я же сказала, что слезы кончились.

Артему было рассказано все: на этом настояла Искра. Зина созналась, не поднимая глаз. Вокруг стояли посвященные: Лена, Искра, Жорка и Пашка Остапчук.

— Так, — уронил Артем в конце. — Теперь ясно.

— Помощь потребуется? — спросил Пашка.

— Сам, — отрезал Артем. — Жорка свидетелем будет.

— Не свидетелем, а секундантом, — привычно

поправила Искра.

— Где стыкаться? — деловито осведомился секундант.

— В котельной. Надо Михеича увести.

Михеич был истопником и столяром школы и драк не жаловал. А особенно он не жаловал 9 «Б», потому что раньше в нем учился Сашка Стамескин и тогда угля не хватало, а Михеича ругали.

Этот разговор происходил на последней перемене, а после шестого урока у дверей 10 «А» Артем встретил Юрку.

— Надо поговорить.

— О чем, малявка?

Десятиклассники были школьной элитой и насмешливо относились даже к девятым классам. Насмешка была дружеской, но Артем не улыбнулся.

— Идем. Можешь взять Серегу.

— Сергей! — крикнул Юра в класс. — Нас на разговор девятиклассники зовут!

В коридоре ждал Ландыс, и к котельной они подошли вчетвером. Жорка забежал вперед, заглянул:

— Пашка дело знает!

Они вошли в полутемную, пропахшую пылью котельную. Жорка закрыл дверь на задвижку. Де-

сятиклассники настороженно переглядывались.

— Я тебя сейчас, это, бить буду, — сообщил Артем, снимая куртку.

— Малявка! — нервно засмеялся Юрий. — Да я из тебя котлету!..

— А в чем дело? — спросил Сергей. — Просто так, что ли?

— Он знает, — сказал Артем. — Видишь, ни о чем не спрашивает. А тебе скажу: дружок у тебя, это, дрянь дружок. Трепло дешевое.

Юрка был плотнее и выше Артема, да, вероятно, и сильнее, но драться ему приходилось нечасто. А Артему — часто, потому что он рос среди драчунов братьев, умел постоять за себя и ничего не боялся. Ни боли, ни крови, ни встречного удара. Он был ловок, увертлив, а жилистый его кулак действовал быстрее и точнее. Кроме того, кулак этот бил сейчас соперника, о чем, правда, сам Артем еще не успел подумать.

— Да что это он, всерьез? — забеспокоился Сергей.

— Тихо, Серега, тихо, — Ландыс, улыбаясь, держал его за пиджак. — Наше дело, чтоб все по правилам, без кирпичей и палок. А полезешь, я тебе буду зубы считать.

— Да ведь до первой крови полагается!

— А это не оговаривали. Может, сегодня и до последней дойдет.

Пока в котельной шла дуэль, Лена и Пашка водили Михеича по младшим классам и убеждали, что в окна дует и дети могут простудиться. Михеич ощупывал рамы негнущимися пальцами, подставлял небритую щеку и божился, что никакого ветра нет и в помине. Лена говорила, что есть, а он — что нет. А Пашка поглядывал на часы — во всем классе только у него да у Вики были часы — и размышлял, чем бы еще занять Михеича, когда дело со сквозняками иссякнет. За этим занятием их застал Николай Григорьевич: видно, они орали, а он шел мимо.

— Что вы тут делаете?

— Да вот они говорят, что дует, мол, а я говорю…

— Правильно, — сказал директор и закрыл дверь.

— Надо все проверить, — заявил Пашка. — Все окна на всех этажах. Слышали, что Николай Григорьевич сказал!

И они пошли по этажам, хотя Михеич призывал в свидетели господа бога, что ничего подобного директор не говорил. Медкомиссия — а они представились именно так — была придирчива

и неумолима.

— Дует.

— Не дует.

— Нет, дует!

— Нет, не дует!

— Пора, — шепнул Пашка. — За это время можно полшколы переколотить. Я пойду на разведку, а ты отрывайся. Встретимся у мостика.

Лена так и сделала, внезапно оставив сильно озадаченного Михеича в пустом классе. Пашка ждал ее внизу, сказал, что в котельной пусто, и к мостику они побежали вместе. Там все уже были в сборе. Искра прикладывала мокрый платок к подбитому глазу Артема, а Жорка советовал:

— Лучше всего коньяки оттягивают.

Зина стояла рядом, смотрела в сторону, но платку завидовала и скрыть этого не могла.

— Ну, как было дело? — поинтересовался Пашка.

— Классная стычка! — радостно сказал Ландыс. — Отделал он его под полный спектр, как Джо Луис. Раз так саданул, — я думал, ну, все. Ну, думаю, открывай счет, Жора.

— Хватит подробностей! — резко перебила Искра. — Все в сборе? Тогда пошли!

— Куда? — удивился Пашка.

— Как куда? К Вике.

Все замялись, переглядываясь. Лена осторожно спросила:

— Может, не стоит?

— Значит, для вас дружба — это пополам радость? А если пополам горе — наша хата с краю?

— Это Ленка сдуру, — нахмурился Артем.

Шли молча, точно на похороны. Только раз Пашка сказал Артему:

— Ну и рожа у тебя.

— Завтра хуже будет, — туманно ответил Артем.

Подошли к дому и остановились, старательно — слишком старательно — вытирая ноги. Искра позвонила — никто не отозвался.

— Может, дома нет? — шепотом предположила Лена.

Искра толкнула дверь: она была не заперта. Оглянулась на ребят, первой вошла в притихшую квартиру. Набились в передней в темноте; Искра нашарила выключатель, зажгла свет. В дверях своей комнаты стояла Вика.

— Зачем вы пришли? — глухо спросила она. — Я не просила вас приходить.

— Ты, это, не просила, а мы пришли, — объяснил Артем. — Мы верно сделали. Ты сама, это…

потом скажешь.

— Ну, проходите, — бесцветно сказала Вика, помолчав.

Она посторонилась, ребята вошли и остановились у порога; в комнате было неприбрано, шкаф раскрыт; белье и книги валялись на полу, точно сброшенные в нетерпении и досаде.

— Ты уезжаешь?

— Обыск, — кратко пояснила Вика. — Садитесь; раз пришли.

Но они не садились. Стояли у двери, и каждый почему-то смутно ощущал вину.

— Во всех комнатах так? — тихо спросила Искра.

— Они что-то искали.

Помолчали.

— А где Поля? — опять спросила Искра.

— Уехала в деревню. Насовсем. С первым поездом.

— Так. — Искра яростно тряхнула головой, только косы подпрыгнули. — За дело, ребята. Все убрать и расставить. Девочки — белье, мальчики — книги. Дружно, быстро и аккуратно!

— Не надо, — вздохнула Вика. — Ничего не надо.

— Нет, надо! Все должно быть, как было. И —

как будет!

И все очень обрадовались, потому что это было реальное занятие и реальная помощь. Мальчики ушли убирать столовую, а девочки — комнату Вики и спальню отца. И вскоре все оживились и даже заулыбались, и стало слышно, как в столовой азартно спорят Жорка и Пашка и как Артем урезонивает их. И даже Вика присела рядом с Искрой и стала укладывать белье.

— Ты написала тете?

— Написала, но тетя не поможет. Будет только плакать и пить капли.

— Как же ты одна?

— Ничего, — Вика помолчала. — Андрей Иванович приходил, Зинин папа. Хотел, чтобы я к ним перешла жить. Пока.

— Это же замечательно, это же…

— Замечательно? — Вика грустно улыбнулась. — Уйти отсюда — значит поверить, что папа и в самом деле преступник. А он ни в чем не виновен, он вернется, обязательно вернется, и я должна его ждать.

— Извини, — сказала Искра. — Ты абсолютно права.

Вика промолчала. Потом спросила, не глядя:

— Почему вы пришли? Ну, почему?

— Мы пришли потому, что мы знаем Леонида Сергеевича и… и тоже уверены, что это ошибка. Это кошмарная ошибка, Вика, вот посмотришь.

Вика поймала руку Искры в груде белья, крепко сжала ее и долго не отпускала. Потом улыбнулась: губы ее дрожали, по щеке ползла слезинка.

— Конечно, ошибка, я знаю. Он сам сказал мне на прощанье. И знаешь что? Я поставлю чай, а? Есть еще немного папиных любимых пирожных.

— А ты обедала?

— Я чаю попью.

— Нет, это не годится. Зина, марш на кухню! Посмотри, что есть. Вика сегодня не ела ни крошечки.

— Я вкусненько приготовлю! — радостно закричала Зиночка.

Потом пили чай, а Вика ела особую яичницу из самой большой сковороды. За дубовыми дверцами по-прежнему искрился хрусталь, все было на своих местах, и ребята устало любовались работой. А когда Вика спросила, почему у Артема такое красное лицо, и он сказал, что упал с лестницы, все принялись ужасно хохотать, и Вика рассмеялась тоже.

— Ну, и замечательно, ну, и замечательно! — кричала Зина. — Все будет хорошо, вот посмотри-

те. Я предчувствую, что все будет хорошо!

Но предчувствовала она, что все будет плохо, а сейчас изо всех сил врала. И Искра знала это, и Лена, и сама Вика, и только ребята со свойственной всем мужчинам боязнью мрачных предопределений верили, что их маленькие и мудрые подружки-женщины говорят сейчас правду.

— Ты завтра пойдешь в школу, — сказала Искра, когда прощались.

— Хорошо, — послушно кивнула Вика.

— Хочешь, я зайду за тобой? — предложила Лена. — Мне по пути.

— Спасибо.

— Дверь никому не открывай. — Искре захотелось поцеловать Вику, но она отмела эту слабость и крепко, по-мужски пожала руку.

Возвращались непривычно тихими и задумчивыми: даже Зиночка помалкивала. А прощаясь, Артем сказал:

— Страшно все-таки.

— Что? — не поняла Искра.

— Ну, это… Обыск этот. Книжки по полу, а на книжках — следы от сапог. А хрусталь не били. Аккуратно складывали, ни одной рюмки битой.

— Он, наверно, дорогой, — неуверенно вздохнула Зина.

— Дороже книжек? — усмехнулся Артем. — Если стекляшки эти дороже книжек становятся, тогда… — он замолчал, погонял припухшие желваки на скулах. — Ну, это… Пойдем, Жорка. Привет.

— Привет, — тихо сказала Зина. Остальные промолчали.

Возле дома Искру ждал Сашка Стамескин. Он был в легкой куртке, продрог и сердился.

— Где ты была?

— У Вики Люберецкой.

— Ну, знаешь… — Сашка покачал головой. — Знал, что ты ненормальная, но чтоб до самой маковки…

— Что ты бормочешь?

— А то, что Люберецкий этот — враг народа. Он за миллион чертежи нашего самолета фашистам продал. За миллион!

— Сашка, ты врешь, да? Ну, скажи, ну…

— Я точно знаю, поняла? А он меня на работу устраивал, на секретный завод. Личным звонком. Личным! И жду я, чтоб специально предупредить.

— О чем? — строго спросила Искра, подняв посерьезневшие, почти скорбные глаза. — О чем ты хотел предупредить меня?

— Вот об этом. — Сашка растерялся — он никогда не видел у Искры таких взрослых глаз.

— Об этом? Спасибо. А Вика что продала? Какой самолет?

— Вика? При чем тут Вика?

— Вот именно, ни при чем. А Вика моя подруга. Ты хочешь, чтобы я предала ее? Даже если то, что ты сказал, правда, даже если это — ужасная правда. Вика ни в чем не виновата. Понимаешь, ни в чем! А ты…

— А что я?

— Ничего. Может быть, мне показалось. Иди домой, Саша.

— Искра…

— Я сказала, иди домой. Я хочу побыть одна. До свидания.

Разумом Искра понимала, что все правильно, но только разумом. А на душе было смутно, тягостно и беспокойно, и, когда разум отключался, откуда-то с самого дна всплывал беспомощный вопрос: как же так? Она вспоминала уютный дом, чай, который разливал хозяин, его самого, его разговоры, непривычные суждения, седину на висках и ордена. Ордена, которых в ту пору было так мало, что награжденных знали в лицо. И, все понимая дисциплинированным умом, Искра

ничего не понимала.

Утром Вика пришла в школу с Леной, и класс встретил ее, как всегда. Может быть, с чуть большим вниманием, чуть большим оживлением, но это казалось естественным, и она была благодарна классу. А должна была быть благодарной Искре, потому что Искра прибежала первой, успела собрать класс до ее прихода и сказать:

— Как обычно. Всем все ясно? Вовик, ты уразумел? Сейчас придет Вика, чтобы было все как всегда. Как всегда!

Но «как всегда» получилось три дня. А на четвертый, к концу уроков, Вику вызвали к директору. Отсутствовала она полчаса, вошла спокойная, но очень бледная.

— Семен Исакович, Николай Григорьевич срочно просит Искру Полякову и Артема Шефера.

— Пожалуйста, пожалуйста! — торопливо согласился математик.

Вика села на место, а Артем и Искра молча вышли из класса. В коридоре их встретил Серега из 10 «А», ему они очень удивились, так как шли уроки и вообще этот этаж был их, а не десятиклассников.

— Вас жду, — пояснил он. — Валендра задала сочинение, а сама у директора. Теперь вас начнут

тягать, так хочу объяснить.

— Мы знаем, — сказала Искра.

— Что вы знаете? Ничего вы не знаете. В тот день после стычки нас Валендра встретила, когда я Юрку домой вел. А у него рожа — картина ужасов, твой приятель постарался. Ну, она вцепилась, кто да за что? Я и сказал: обычная драка. Подчеркиваю, я сказал. Юрке было не до разговоров, ты ему челюсть своротил.

— Ну, спасибо, — усмехнулся Артем. — У вас все трепачи в десятом или хоть через одного?

— А что я мог? Она как пиявка, сам знаешь. Гнала Юрку в поликлинику, чтобы он справку об избиении взял, но Юрка не пошел. Так что вали на обычную драку. Мол, из принципа.

— Сами разберемся, — перебила Искра. — Катись к своему Юрику.

В кабинете сидела Валентина Андроновна. Сидела сбоку стола, но устроилась удобно и уходить не собиралась.

— Вызывали? — спросила Искра.

— Обожди в коридоре, Полякова, — сказала Валентина Андроновна.

Искра молча смотрела на директора. Николай Григорьевич кивнул, она тотчас же вышла, а Валентина Андроновна улыбнулась. Улыбка была

злой, и Артем это отметил.

— За что ты избил Юрия Дегтярева из десятого «А»?

— За дело, — буркнул Артем.

— Какое дело?

— Наше дело.

Спрашивала только она: директор молчал, глядя в стол. Поэтому Артем злился и грубил.

— Ну так я тебе скажу, почему ты его избил. Ты избил его потому, что отец Юры служит в органах.

Новость была неожиданной: в школе никто особо не интересовался, где работают чужие отцы. И Артем с искренним недоумением воззрился на учительницу.

— Да, да, нечего на меня таращиться! И дело это не ваше, Шефер, а политическое. По-ли-ти-чес-ко-е, ясно?

Николай Григорьевич неодобрительно покачал головой.

— Ну, это уж слишком, Валентина Андроновна.

— Я разбиралась в этом вопросе досконально, Николай Григорьевич. Досконально!

— Убейте меня, — вдруг громко сказал Артем. — Ну, это… Убейте!

И без разрешения вышел из кабинета.

— Шефер! — Валентина Андроновна вскочила. — Шефер, вернись!

— Не надо, — тихо попросил директор. — Валентина Андроновна, вы неправильно вели себя. Нельзя швыряться такими обвинениями.

— Я знаю, что делаю! — отрезала учительница. — Вам, кажется, разъяснили, до чего может довести ваш гнилой либерализм, так не заставляйте меня еще раз сигнализировать! А этот Шефер — главный заводила, думаете, я забыла ту вечеринку с днем рождения? Я ничего не забываю. И если Шефер не желает учиться в нашей советской школе, то пойдет работать. И я это ему устрою!

Директор скривился, как от зубной боли, но промолчал.

— Полякова! — крикнула учительница.

Никто не входил и не отзывался. Валентина Андроновна еще раз позвала, потом вышла — Искры возле кабинета не было.

— Полякова! Ты где, Полякова!

Искра появилась с лестничной площадки. Молча пошла на нее, в упор глядя странными глазами.

— Что вы сказали Артему, Валентина Андроновна? Что вы сказали ему?

— Это тебя не касается. Марш в кабинет.

— Он же чернее земли, — с упреком проговорила Искра. — Я спросила, а он выругался. Он так страшно выругался…

— Он еще и ругается! — с торжеством объявила учительница, входя в кабинет. — Вот плоды вашей надклассовой демократии!

Она имела в виду директорские беседы, спевки в спортзале, зеркала в девичьих уборных и вообще весь этот слюнтяйский либерализм, который следовало выжигать каленым железом. Директор так и понял ее и опять промолчал, понурив голову.

— Где вы были вчера?

— У Вики Люберецкой.

— Ты подговорила ребят пойти туда? Или Шефер?

— Предложила я, но ребята пошли сами.

— Зачем? Зачем ты это предложила?

— Чтобы не оставлять человека в беде.

— Она называет это бедой! — всплеснула руками Валентина Андроновна. — Вы слышите, Николай Григорьевич?

Потом Искра определила взгляд Николая Григорьевича, но потом, дома. Тогда она только почувствовала, но не нашла определения. А

взгляд был устало-покорным, и сам директор походил на смятую бумагу.

— Значит, организовала субботник? Как благородно! А может быть, ты считаешь, что Люберецкий не преступник, а невинная жертва? Почему ты молчишь?

— Я все знаю, — тихо сказала Искра.

А сама думала, что совсем недавно Валентина Андроновна называла Люберецкого гордостью их города. Думала, уже не задавая себе вопроса: как же так? Думала, просто отмечая жизненные несообразности. Просто набирая факты.

— Мы не будем делать выводов, учитывая твое безупречное поведение в прошлом. Но учти, Полякова. Завтра же проведешь экстренное комсомольское собрание.

— А повестка? — уже холодея, спросила Искра.

Она все время ловила взгляд Николая Григорьевича. Но он прятал глаза.

— Необходимо решить комсомольскую судьбу Люберецкой. И вообще я считаю, что дочери врага народа не место в Ленинском комсомоле.

— Но за что? — еле слышно выговорила Искра. Ей вдруг стало плохо, как никогда еще не было, но она удержалась на ногах. — За что же? Вика же не виновата, что ее отец…

— Да, конечно, — зашевелился директор. — Конечно.

— Я не буду проводить этого собрания, — мертвея от ужаса, произнесла Искра.

Тупая, тянущая боль возникла где-то в самом низу живота. От этой боли леденели руки, хотелось скорчиться, прижать коленки к груди и не шевелиться. Лоб покрылся холодным потом. Искра закусила губу, чтобы не выбежать или не упасть.

— Что ты сказала?

— Я не буду проводить собрания…

— Что-о?..

Кажется, Валентина Андроновна начала подниматься, расти. Кажется, потому что у Искры все поплыло перед глазами, она уже ничего не видела — была только эта боль. Боль, рвущая тело изнутри.

— Да ей же плохо! — крикнул Николай Григорьевич, вскакивая.

Он успел подхватить Искру, а то бы она грохнулась. Она цеплялась за него, улыбаясь из последних сил.

— Ничего. Извините. Ничего.

— Сестру! — рявкнул директор. — Что вы сидите как клуша?

Очнулась Искра в медпункте на жесткой кушетке. Повела глазами, испуганно глянула вниз: платье взбито, воротник расстегнут.

— Да одна я тут, одна, не бойся, — добродушно сказала толстая пожилая сестра. — Ну, очнулась, красавица? И хорошо. Выпей-ка.

— Что со мной было? — Искра послушно выпила капли.

— Ничего страшного, у девочек это бывает. Ну, чего краснеешь? Дело естественное, растешь, а тут еще, видать, понервничала. Ты берегись, большая уже, понимать должна.

— Да, да, спасибо. А как я... Я сама к вам пришла?

— Директор принес, Николай Григорьевич. Прямо как доченьку, только что не целовал.

— Ужасно, — прошептала Искра.

— Ну, ты в порядке? Тогда Николая Григорьевича кликну, он в коридорчике дожидается.

Она выглянула за дверь, и тотчас же вошел директор. Искра хотела встать, но он сам сел рядом на скользкую клеенчатую кушетку.

— Как дела, хороший человек?

— А откуда вы знаете, что хороший? — спросила Искра, улыбаясь.

— Ох, и трудно же догадаться было! До дома

дойдешь, или, может, машину где выпросить?

— Дойдет! — махнула рукой сестра.

— Дойду, — подтвердила Искра.

— Да и провожатых у тебя достаточно. А собрание будет через неделю, так что не волнуйся пока. Я сам в райком звонил.

— А Вика?

— А с Люберецкой пока ничего хорошего не обещаю. — Директор нахмурился и встал, привычно оправляя гимнастерку под ремнем. — Я поговорю, сделаю что смогу, но ничего не обещаю. Сама понимаешь.

— Понимаю, — вздохнула Искра. — Ничего я не понимаю.

В коридоре ждали Зиночка, Вика, Лена, Пашка, Жорка и Валька Александров.

— А где Артем?

— Ушел, — сказал Жорка. — Вернулся, взял сумку и потопал прямо с урока.

— Хоть о Шефере-то не беспокойся, — поморщился директор. — Ну в другой школе будет учиться, не пропадет. Если бы просто драка, а…

— А драка, Николай Григорьевич, была справедливой, — сказал Валька Александров. — Я в тот день болел и могу беспристрастно обрисовать.

— Артем дрался из-за меня, — вдруг призналась

Зина. — Потому что я ходила с Юркой в кино.

— Из-за тебя? — почему-то очень радостно удивился директор. — Точно из-за тебя?

— А что, из-за меня и подраться нельзя?

— Можно, — сказал Николай Григорьевич. — Можно и нужно. Только чтоб Артему твоему полегче было, напиши-ка ты мне, Коваленко, докладную.

— Что? — испугалась Зиночка.

— Ну, записку. Изложи, как было дело, вскрой причины. Полякова тебе поможет. И завтра, не позже.

— А зачем?

— Ну надо же, надо! — почти пропел директор. — Гора с плеч свалится, если будет такая записка, понятно?

Искру провожали до самого подъезда. Вначале она и слышать об этом не хотела, но на сей раз ее не послушались, и это было очень приятно. Возле дома постояли, погалдели, посмеялись и стали расходиться. Только Вика не торопилась.

— Идем, Вика! — крикнула Лена. — Нам по пути, и у нас есть Пашка.

— Я догоню. — И, когда все отошли, сказала: — Спасибо тебе, Искра. Папа не зря говорил, что ты самая лучшая.

Воспоминания о папе Вики были для Искры неприятны: ей уже казалось, что теперь-то она знает, кто он такой, этот папа. И чтобы скрыть то, что подумала, вздохнула:

— С комсомолом будет очень трудно, Вика.

— Я знаю. — Вика говорила спокойно, точно повзрослела за эти дни на добрых двадцать лет. — Мне все объяснила Валентина Андроновна. Мы долго говорили с ней наедине: Николая Григорьевича куда-то вызывали, и вернулся он какой-то… Какой-то не такой.

— С комсомолом будет трудно, — повторила Искра: для нее это было сейчас самым главным. — Но ты не отчаивайся, Николай Григорьевич обещал что-нибудь сделать.

— Да, да, — грустно улыбнулась Вика. — А потом ведь собрание только через неделю.

Они опять крепко пожали друг другу руки, опять хотели поцеловаться и опять не поцеловались. Разошлись.

Глава седьмая

Искра заставила Зину написать записку, сурово отредактировала ее, убрав ненужные, с ее точки зрения, эмоции, и отнесла директору.

— Добре, — сказал Николай Григорьевич. — Может, и выгорит.

Вызвал через два дня:

— Оставили архаровца. Передай, чтоб завтра же явился.

Искра была в таком радостном настроении, что не выдержала и сбежала с последнего урока. Проехала трамваем, влетела в дом, постучала. Дверь открыла мама.

— А где Артем? — задыхаясь, выпалила Искра.

— Как так — где Артем? — в глазах матери мелькнул испуг. — Разве он не в школе?

— Нет, это я не в школе, — поспешно пояснила Искорка. — Я не была в школе и думала…

Тут она виновато замолчала и начала краснеть, потому что мама Артема неодобрительно качала головой.

— Ты не умеешь врать, девочка, — вздохнула она. — Конечно, это хорошо, но твоему мужу

придется несладко. Ну-ка иди на кухню и рассказывай, что такое ужасное натворил мой сын.

И Искра честно все рассказала. Все — про драку, а не про Вику. Про драку и скандал с классной руководительницей, а о том, что Артем выругался, умолчала. И хотя умолчание тоже есть форма лжи, с этой формой Искра как-то уже освоилась.

— Ай, нехорошо драться, — сказала мама, улыбаясь не без удовольствия. — Он смелый мальчик, ты согласна? У такого отца, как мой муж, должны быть смелые сыновья. Мой муж был пулеметчиком у самого Буденного, и я таскалась за ними с Матвеем на руках. Так вот, я уже все знаю. Этот негодник — я говорю о Тимке, — этот махновец прячется у Розы и Петра. А потом приходит домой и делает себе уроки… Очень трудно воспитывать мальчиков, хотя, если судить по Розочке, девочек воспитывать еще трудней. Сейчас я тебе объясню, где живут эти странные люди, у которых нет даже поварешки.

Мама растолковала, как найти общежитие, и Искра убежала, успев, правда, съесть два пирожка. Она быстро разыскала нужную комнату в длиннющем коридоре, хотела постучать, но за дверью пел женский голос. Пел для себя, очень приятно, и Искра сначала послушала, а уж потом

постучала. Роза была одна. Она гладила белье, пела и учила «Строительные материалы» одновременно.

— Сейчас придет, — сказала она, имея в виду Артема. — Я послала его в магазин. Ты — Искра? Ну, правильно, Артем так и сказал, что если кто его найдет, то только Искра.

— А вы Роза, да? Мне Артем рассказывал, что вы из дома ушли.

— И правильно сделала, — улыбнулась Роза. — Если любишь и головы не теряешь, значит, не любишь и любовь потеряешь. Вот что я открыла.

— Давайте я вам буду помогать.

— Лучше говори мне «ты». Спросишь, почему лучше? Потому что я глажу рубашки своему парню. — Она вдруг скомкала рубашку, прижала ее к лицу и вздохнула. — Знаешь, какая это радость?

— Вот вы… ты говоришь, что любить — значит терять голову, — серьезно начала Искра, решив разобраться в этом заблуждении и немножечко образумить Розу. — Но голова совсем не для того, чтобы ее терять, это как-то обидно. Женщина такой же человек, как и…

— Вот уж дудочки! — с веселым торжеством перебила Роза. — Если хочешь знать, самое большое счастье — чувствовать, что тебя любят. Не знать,

а чувствовать, так при чем же здесь голова? Вот и выбрось из нее глупости и сделай себе прическу.

— Говорить так — значит отрицать, что женщина — это большая сила в деле строительства…

— У, еще какая сила! — опять перебила Роза: она очень любила перебивать по живости характера. — Силища! Только не для того, для чего ты думаешь. Женщина не потому силища, что камни может ворочать похлеще мужика, а потому она силища, что любого мужика может заставить ворочать эти камни. Ну и пусть они себе ворочают, а мы будем заставлять.

— Как это — заставлять? — Искра начала сердиться, поскольку серьезный разговор не получался. — Принуждать, что ли? Навязывать свою волю? Стоять с кнутом, как плантатор? Как?

— Как? Ручками, ножками, губками. — Роза вдруг оставила утюг и гордо прошлась по комнате, выпятив красивую грудь. — Вот я какая, видишь? Скажешь, не сильная? Ого! Мой парень как посмотрит на меня, так не то что камни — железо перегрызет! Вот это и есть наша сила. Хотите, чтобы мы увеличили производительность труда? Пожалуйста, увеличим. Только дайте нам наряды, дайте нам быть красивыми — и наши парни горы свернут! Да они за нашу красивую улыбку,

за нашу нежность…

Вошел Артем, и Роза замолчала, лихо подмигнув Искре.

— Привет, — сказал он, не удивившись. — А сахару опять нет. Говорят, завтра в семнадцатом будут давать по два кило.

— Придется побегать, — без всякого огорчения заявила Роза, снова принимаясь гладить. — Мой парень — ужас какой сластена.

— Ну, чего там? — спросил Артем, раздевшись и расставив покупки.

— Все в порядке, завтра приходи в школу.

— «Разобралась в этом вопросе»! — с отвращением передразнил Артем кого-то очень знакомого. — Ну, болтуны. Вика ходит в школу?

— Ходит. Собрание через неделю. Может быть, удастся…

— Ничего не удастся, потому что всех сожрет Валендра. Уроков много задали?

Искра показала домашние задания, объяснила новое и ушла. В Артеме она была уверена: он все сделает, что решил, а решил он ни в коем случае не бросать дорогой его сердцу 9 «Б». Так думала Искра, а сам Артем во всем девятом видел одну Зиночку Коваленко.

Неделя была как неделя: списывали и подска-

зывали, отвечали и решали, сочиняли записки, обижались, назначали свидания, плакали тайком. Только Валентина Андроновна ни разу не вызывала Вику, хотя Вика аккуратно готовила уроки и у других учителей отвечала на «отлично». Но это были все-таки мелочи, хотя класс все видел, все подмечал, делал свои выводы, и если бы об этих выводах узнала классная руководительница, то, вероятно, сочла бы за благо своевременно перейти в другую школу.

— Стерва, — определил Ландыс.

— Так о старших не говорят! — взвилась Искра.

— Я не о старших. Я о Валендре.

Артем получил взбучку от директора, посопел, повздыхал и уселся на привычное место рядом с Жоркой. А в субботу после уроков Вика предложила:

— Давайте с осенью попрощаемся.

Все удивились, но не предложению, а тому, что оно исходило от Вики. И обрадовались.

— В лес! — крикнула Зиночка.

— На речку! — требовал Ландыс.

— В Сосновку! — сказала Вика. — Там и лес и речка.

— В Сосновку! — подхватил Жорка, мгновенно перестроившись.

— А там есть магазин или столовая? — спросила Искра.

— Я все купила. Хлеб возьмем утром, а поезд в девять сорок.

Сосновка была близко: они даже не успели допеть любимых песен. Спрыгнули на низкую платформу и притихли, пораженные прозрачной тишиной.

— Куда пойдем? — спросил Валька Александров: по жребию ему досталась корзина с харчами, и он был заинтересован в маршруте.

— За дачным поселком лес, а за ним речка, — объяснила Вика.

— Ты бывала здесь? — спросила Лена.

Вика молча двинулась вперед, за нею — Ландыс. Она оглянулась, кивнула, тогда он догнал ее и пошел рядом. Свернули в переулок, вышли на тихую заросшую улицу. Заколоченные дачи тянулись по сторонам.

— Быстро дачники свернулись, — сказал Жорка: его мучило молчание.

— Да, — односложно подтвердила Вика.

— Я бы здесь до зимы жил. Здесь хорошо.

— Хорошо.

— В речке купаются?

— Сейчас холодно.

— Нет, я вообще.

— Там купальня была. — Вика остановилась, подождала, пока подойдут остальные, и сказала, обращаясь преимущественно к Искре: — Вот наша дача.

Они стояли возле маленького аккуратненького домика, недавно выкрашенного в веселую голубую краску.

— Красивая, — протянула Зина.

— Папа сам красил. Он любил веселые цвета.

— А сейчас… — начала Искра и замолчала.

— Сейчас все опечатано, — спокойно договорила Вика. — Я хотела кое-что взять из своих вещей, но мне не позволили.

— Пошли, — буркнул Артем. — Чего глядеть-то?

Шли по заросшему лесу, шуршали листвой и молчали то ли от осеннего безмолвия, то ли еще неся в себе дачу, в которой оставалось навсегда прошлое их подруги. И рядом с этим опечатанным прошлым не хотелось разговаривать.

Вика вывела к речке — пустой и грустной, с затонувшими кувшинками. Ребята развели костер, и, когда затрещал он, разбрасывая искры, все облегченно заговорили и заулыбались, точно огонь высветил этот задумчивый осенний день

из сумрака недавнего прошлого. Девочки принялись возиться с едой, а Вика, присев у корзины, надолго задумалась. Потом вдруг поднялась, оглянулась на Ландыса:

— Ты очень занят?

— Я? Нет, что ты! У нас Артем главный по кострам.

— Хочешь, я покажу тебе одно место?

Пошла вдоль берега, а Жорка шел сзади, не решаясь заговорить. Остановились над крутым песчаным обрывом; куст шиповника навис над ним, уронив унизанные красными ягодами плети.

— Я любила читать здесь.

Села, опустив ноги в обрыв. Жорка постоял, отошел к шиповнику, стал обрывать ягоды.

— Не надо. Пусть висят, красиво. Их потом птицы склюют.

— Склюют, — согласился Ландыс. Посмотрел на сорванные ягоды, хотел выбросить, но, подумав, спрятал в карман.

— Сядь. Рядом сядь, что ты за спиной бродишь?

Жорка поспешно сел, и они опять надолго замолчали. Он изредка поглядывал на нее, хотел пересесть поближе, но так и не решился.

— Ландыш, — вдруг тихо сказал Вика. — Ты

любишь меня, Ландыш?

Так и спросила: «Любишь?» Не «Я нравлюсь тебе?», как было принято спрашивать, а — «Ты любишь меня?». Как взрослая.

Жорка глубоко вздохнул, шевельнул губами и кивнул, глядя строго перед собой: теперь он боялся смотреть в ее сторону.

— Ты долго будешь любить меня?

Ландыс хотел сказать, что всю жизнь, но опять не смог и опять кивнул. А потом добавил:

— Очень.

Голос у него был хриплый, да и губы что-то плохо слушались.

— Спасибо тебе. Поцелуй меня, Ландыш.

Он торопливо перебрался поближе, склонился, прижался губами к ее щеке и замер.

— И обними. Пожалуйста, обними меня покрепче.

Но Жорка не умел ни целоваться, ни обниматься: юность — всегда борьба желаний со страхом, и страх был пока непреодолим ни для него, ни для Вики. Он сграбастал ее двумя руками — неуклюже, за плечи, — прижал, осторожно целуя что подвертывалось: то щеку, то случайную прядку, то маленькое ухо. Вика приникла к нему, по-прежнему глядя вдаль, за речку, и так они сидели,

пока издали не закричал Валька:

— Вика, Жорка, где вы там? Кушать подано!

Ели докторский хлеб с молоком, пекли картошку, что принес предусмотрительный Артем, пили ситро: на каждого досталось по бутылке. Потом пели песни, беспричинно смеялись. Пашка ходил на руках, а Артем и Валька прыгали через костер. И Вика пела и смеялась, а Жорка все время ловил ее взгляд. Она улыбалась ему, но больше к обрыву не позвала.

Вернулись в темноте и поэтому прощались торопливо, уже на вокзале.

— Завтра понедельник, — со значением сказала Искра.

— Я знаю, — кивнула Вика.

Они держали друг друга за руки и, как всегда, не решались поцеловаться.

— Может быть, я не приду на уроки, — помолчав, произнесла Вика. — Но ты не волнуйся, все будет как надо.

— Значит, на собрании ты будешь?

Искре очень не хотелось уточнять, хотелось избежать упоминания о завтрашнем собрании, но Вика, как ей показалось, что-то недоговаривала. Пришлось проявить характер и спросить в лоб.

— Да, да, конечно.

— Вика, ждем! — крикнула Лена. Они с Пашкой стояли поодаль.

Вика еще раз крепко сжала руку Искры и ушла, не оглянувшись. А Искре вдруг очень захотелось, чтобы Вика оглянулась, и она долго смотрела ей вслед.

У дома ее опять ждал Сашка Стамескин.

— Значит, не взяли меня, — с обидой констатировал он. — Лишний я в вашей компании.

— Да, лишний, — сухо подтвердила Искра. — Нас приглашала Вика.

— Ну и что? Лес не Вике принадлежит.

Что-то разладилось у них после того разговора у подъезда. Искре было не по себе от этого разлада, она много думала о нем, но, думая, не могла забыть Сашкиных слов, что устраивал его на завод сам Люберецкий. И в этих словах ей чудилась какая-то трусливая интонация.

— Тебе хотелось поехать с Викой?

— Мне хотелось поехать с тобой! — резко отрубил Сашка.

От этой резкости Искра сразу потеплела: уж очень искренне звучали слова. Тронула за руку:

— Не сердись, пожалуйста, просто я не подумала вовремя.

Сашка сопел уже по инерции. Он добрел на

глазах. Искра чувствовала это.

— Завтра увидимся?

— Завтра, Саша, никак. Завтра комсомольское собрание.

— Ну не до вечера же!

— А что с Викой после него будет, представляешь?

— Опять Вика?

— Саша, ну нельзя же так, — вздохнула Искра. — Ты же добрый, а сейчас говоришь плохо.

— Ну, ладно, — недовольно сказал Сашка, помолчав. — Ну я вроде не прав. Но послезавтра-то увидимся?

Чем меньше времени оставалось до понедельника, тем все чаще Искра думала, что будет на собрании. Она пыталась найти наиболее приемлемую форму выступления Вики, перебирала варианты, лежа в постели, и, почти засыпая, нашла: «Я осуждаю его…»

Да, именно так и надо будет подсказать Вике: «Осуждаю». Нет, она не откажется от отца, она, как честный человек, лишь осудит его нечестные дела, и все будет хорошо. Все тогда будет просто замечательно! Искра так обрадовалась, отыскав эту спасительную формулировку, что на радостях тотчас же уснула.

Вика в школе не появилась. Валентина Андроновна нашла Искру, предложила срочно сходить к Люберецкой и выяснить…

— Не надо, Валентина Андроновна, — сказала Искра. — Вика придет на собрание, она дала слово. А то, что ее нет на уроках, это же понятно: ей надо подготовиться к выступлению.

— Опять капризы, — с неудовольствием покачала головой учительница. — Прямо беда с вами. Скажи Александрову, чтобы написал объявление о собрании.

— Зачем объявление? И так все знают.

— Из райкома придет представитель, поскольку это не простое персональное дело. Не простое, ты понимаешь?

— Я знаю, что оно не простое.

— Вот и скажи Александрову, чтобы написал. И повесил у входа.

Писать объявление Валька отказался наотрез. Впрочем, Искра не настаивала, потому что эта идея ей решительно не нравилась.

— Где объявление? — спросила учительница перед последним уроком.

— Объявления не будет.

— Как не будет? Это что за разговор, Полякова?

— Объявление никто писать не станет, — упря-

мо повторила Искра. — Мы считаем…

— Они считают! — язвительно перебила Валентина Андроновна. — Нет, слышите, они уже считают! Немедленно пришли Александрова. Слышишь?

— Валентина Андроновна, не надо никакого объявления, — как можно спокойнее сказала Искра. — Не надо, мы просим вас. Не надо.

Учительница молча смотрела на Искру. То ли на нее повлиял спокойный тон, то ли упрямство 9 «Б», то ли она сама кое-что сообразила, но крика не последовало. Предупредила только:

— Пеняй на себя, Полякова.

Кончился последний урок, класс пошумел, попрятал учебники и остался, поскольку был целиком комсомольским. А чуть позже вошла Валентина Андроновна с молодым представителем райкома.

— Где Люберецкая?

— Еще не пришла, — сказала Зина: ее поднесло не вовремя, как всегда.

— Так я и знала! — чуть ли не с торжеством отметила учительница. — Коваленко, беги сейчас же за ней и тащи силой! Может, начнем пока?

Последний вопрос относился уже к представителю.

— Придется обождать. — Он сел за пустую парту. Парту Зины и Вики, но Зина уже убежала, а Вика еще не пришла.

— Нет, вы уж, пожалуйста, за стол.

— Мне и здесь удобно, — сказал представитель. — Народ кругом.

Он улыбнулся, но народ сегодня безмолвствовал. Валентина Андроновна и это отметила: она все отмечала. Прошла к столу, привычно окинула взглядом класс.

— У нас есть время поговорить и поразмыслить, и, может быть, то, что Люберецкая оказалась жалким трусом, даже хорошо. По крайней мере, это снимает с нее тот ореол мученичества, который ей усиленно пытаются прилепить плохие друзья и плохие подруги.

Она в упор посмотрела на Искру, а Искра опустила голову. Опустила виновато, потому что четко определила свою вину, доверчивость и неопытность, и ей было сейчас очень стыдно.

— Да, да, плохие друзья и плохие подруги! — с торжеством повторила учительница: пришел ее час. — Хороший друг, верный товарищ всегда говорит правду, как бы горька она ни была. Не жалеть надо — жалость обманчива и слезлива, — а всегда оставаться принципиальным человеком.

Всегда! — Она сделала паузу, привычно ловя шум класса, но шума не было. Класс не высказывал ни одобрения, ни возмущения — класс сегодня упорно безмолвствовал. — С этих принципиальных позиций мы и будем разбирать персональное дело Люберецкой. Но, разбирая ее, мы не можем забывать о зверском избиении комсомольца и общественника Юрия Дегтярева. Мы не должны забывать и об увлечении чуждой нам поэзией некоторых чересчур восторженных поклонниц литературы. Мы не должны забывать о разлагающем влиянии вредной, либеральной, то есть буржуазной, демократии. Далекие от педагогики элементы стремятся всеми силами проникнуть в нашу систему воспитания, сбить с толку отдельных легковерных учеников, а то и навязать свою гнилую точку зрения.

Класс загудел, когда Валентина Андроновна этого не ожидала. Он молчал, когда она говорила о Люберецкой, молчал, когда намекнула на Шефера и слегка проехалась по Искре Поляковой. Но при первом же намеке на директора класс возроптал. Он гудел возмущенно и несогласно, не желая слушать, и Валентина Андроноана прибегла к последнему средству:

— Тихо! Тихо, я сказала!

Замолчали. Но замолчали, спрятав несогласие, а не отбросив его. Валентине Андроновне сегодня и этого было достаточно.

— Вопрос о бывшем директоре школы решается сейчас…

— О бывшем? — громко перебил Остапчук.

— Да, о бывшем! — резко повторила Валентина Андроновна. — Ромахин освобожден от этой должности и…

— Минуточку, — смущаясь, вмешался райкомовский представитель. — Зачем же так категорически? Николай Григорьевич пока не освобожден, вопрос пока не решен, и давайте пока воздержимся.

— Возможно, я не права с формальной стороны. Однако я, как честный педагог…

Ей стало неуютно, и нотка торжества исчезла из ее тона. Она уже оправдывалась, а не вещала, и класс заулыбался. Заулыбался презрительно и непримиримо.

— Прекратите смех! — крикнула Валентина Андроновна, уже не в силах ни воздействовать на класс, ни владеть собой. — Да, я форсирую события, но я свято убеждена в том, что…

Распахнулась дверь, и в класс влетела Зина Коваленко. Задыхалась — видно, бежала всю

дорогу, — затворила за собой дверь, привалилась к ней спиной, широко раскрытыми глазами медленно обвела класс.

— А Люберецкая? — спросила Валентина Андроновна. — Ну, что ты молчишь? Я спрашиваю: где Люберецкая?

— В морге, — тихо сказала Зина, сползла спиной по двери и села на пол.

Глава восьмая

В дни, что оставались до похорон, никто из их компании в школе не появлялся. Иногда — чаще к большой перемене — забегал Валька, а Ландыс вообще куда-то пропал, не ночевал дома, не показывался у Шеферов. Артем с Пашкой долго искали его по всему городу, нашли, но ни родителям, ни ребятам ничего объяснять не стали. Они почти не разговаривали в эти дни, даже Зина примолкла.

Следствие уложилось в сутки — Вика оставила записку: «В смерти моей прошу никого не винить. Я поступаю сознательно и добровольно». Следователь показал эту записку Искре. Искра долго читала ее, смахнула слезы.

— Что она сделала с собой?

— Снотворное, — сказал следователь, вновь подшивая записку в «Дело». — Много было снотворного в доме, а она — одна.

— Ей было… больно?

— Она просто уснула, да поздно спохватились. Тетя ее аккурат в этот день приехала, видит, девочка спит, ну и не стала будить.

— Не стала будить…

Следователь не обратил внимания на вздох. Полистал бумаги — тощая папочка была, писать-то нечего, — спросил не глядя:

— Слушай, Искра, ты же с ней все дни вместе — вот тут твои показания. Как же ты не заметила?

— Что надо было заметить?

— Ну, может, обидел ее кто, может, жаловалась, может, что говорила. Припомни.

— Ничего она особенного не говорила, ни на кого не жаловалась и никого не обвиняла.

— Это мы знаем. Я насчет обид. Ну, понимаешь, так, по-девичьи.

— Ничего не было, все спокойно. В Сосновку накануне ездили… — Искра впервые подняла глаза, спросила с трудом: — А хоронить? Когда будут хоронить?

— Это ты у родственников спроси. — Следователь дописал страничку, подал ей. — Прочитай и распишись. Тут. «Дело» я закрываю за отсутствием состава преступления. Чистое самоубийство на нервной почве.

Искра пыталась сосредоточиться, но не понимала, что читает, и подписала не дочитав. Встала, пробормотала «до свидания», пошла.

— А насчет похорон ты у родственников узнай, — повторил следователь.

— Нет у нее родственников, — машинально сказала она, думая в тот момент, что во всем виноват Люберецкий и что было бы справедливо, если б он немедленно узнал, как погубил собственную дочь.

— Я же говорю, тетка приехала.

На улице ждали Лена и Зина: их тоже вызывали, но допросили раньше Искры. Они стали рядом, ни о чем не спрашивая.

— Пошли, — сказала Искра, подумав.

— Куда?

— Тетя ее приехала, — Искре было трудно выговорить имя «Вика», и она бессознательно заменяла его местоимениями. — Следователь сказал, что насчет похорон надо у родственников узнать.

Зина тяжело вздохнула. Шли молча, и чем ближе подходили к знакомому дому, тем все короче становились шаги. А перед подъездом затоптались, нерешительно переглядываясь.

— Ох, трудно-то как! — еще раз вздохнула Зиночка.

— Надо, — сказала Искра.

— Надо, — эхом повторила Лена. — Это в детстве — «хочу — не хочу», а теперь — «надо или не надо». Кончилось наше детство, Зинаида.

— Кончилось, — грустно покивала Зина.

Они еще раз глянули друг на друга, и первой к дверям пошла Искра. Ей тоже было трудно, тоже не хотелось сюда входить, но она лучше всех была подготовлена к подчинению короткому, как удар, слову «надо».

И опять никто не отозвался на звонок, никто не шевельнулся там, в наглухо зашторенной, дважды опустевшей квартире. Только на этот раз Искра не стала оглядываться в поисках поддержки, а толкнула дверь и вошла. Могильная тишина стояла в квартире. Тускло светилось в полумраке старинное зеркало, и Зина впервые посмотрела в него равнодушно.

— Есть здесь кто-нибудь? — громко спросила Искра.

Никто не отозвался. Девочки переглянулись.

— Нет никого.

— Этого не может быть…

Искра осторожно заглянула в столовую: там было пусто. Пусто было на кухне и в спальне отца: остались опечатанный кабинет и комната Вики, перед которой Искра замерла в нерешительности.

— Ну чего ты боишься? — вдруг злым шепотом спросила Лена. — Ну давай я войду.

И отпрянула: на кровати лежала женщина. Лежала на спине, странно вытянув торчащие из-под платья прямые, как палки, ноги. Неподвижные руки ее крепко прижимали к груди фотографию Вики: они хорошо знали эту окантованную фотографию.

— Мертвая… — беззвучно ахнула Зина.

— Дышит, кажется, — неуверенно сказала Лена.

Искра подошла, заглянула в остановившиеся, бессмысленные глаза.

— Послушайте… — Она запоздало вспомнила, что не знает, как зовут тетю Вики. — Товарищ Люберецкая…

— Мертвая, да? — в ужасе шептала сзади Зина. — Мертвая?

— Товарищ Люберецкая, мы подруги Вики.

Чуть дрогнули замершие веки. Искра собрала все мужество, тронула женщину за руку.

— Послушайте, мы подруги Вики, мы учимся в одном…

Она замолчала: «учимся?». Нет, «учились»: теперь надо говорить в прошлом времени. Все в прошлом, ибо это прошлое прочно вошло в их настоящее.

— Мы учились вместе с первого класса…

Нет, ее не слышали. Не слышали, хотя она говорила громко и четко, заставляя себя все время глядеть в остановившиеся зрачки.

— Ну что? — нетерпеливо спросила Лена.

— Звони в «скорую».

Пока Лена дозвонилась, пока приехала «скорая помощь», они пытались своими средствами привести женщину в чувство. Брызгали на нее водой, подносили нашатырный спирт, терли виски. Все было тщетно: женщина по-прежнему не шевелилась, ничего не слышала и лежала, вытянувшись, как доска. Впрочем, врачи «скорой» тоже ничего не добились. Сделали укол, взвалили на носилки и унесли, так и не сумев вынуть из рук портрет Вики. Хлопнули дверцы машины, взревел и затих вдали мотор, и девочки остались одни в огромной вымершей квартире.

— Как в склепе, — уточнила Зина.

— Что же нам делать? — вздохнула Лена. — Может, в милицию?

— В милицию? — переспросила Искра. — Конечно, можно и в милицию: пусть Вику хоронят как бродяжку. Пусть хоронят, а мы пойдем в школу. Будем учиться, шить себе новые платья и читать стихи о благородстве.

— Но я же не о том, Искра, не о том, ты меня

не поняла!

— Можно и в милицию, — не слушая, жестко продолжала Искра. — Можно…

— Только что мы будем говорить своим детям? — вдруг очень серьезно спросила Зина. — Чему мы научим их тогда?

— Да, что мы будем говорить своим детям? — как эхо, повторила Искра. — Прежде чем воспитывать, надо воспитать себя.

— Я дура, девочки, — с искренним отчаянием призналась Лена. — Я дура и трусиха ужасная. Я сказала так потому, что не знаю, что нам теперь делать.

— Все мы дуры, — вздохнула Зина. — Только умнеть начинаем.

— Наверное, все знает мама Артема. — Искра приняла решение и яростно тряхнула волосами. — Она старенькая, и ей наверняка приходилось… Приходилось хоронить. Зина, найди ключи от квартиры… Мы запрем ее и пойдем к маме Артема и… И я знаю только одно: Вику должны хоронить мы. Мы!

Мама Артема молча выслушала, что произошло в доме Люберецких, горестно покачала седой головой:

— Вы правильно рассудили, девочки, это ваша

ноша. Мы говорили с Мироном и знали, что так оно и будет.

Искра не очень поняла, что имела в виду мама Артема, но ей сейчас было не до того. Ее пугало то, что ожидалось впереди: Вика, которую надо было где-то получать, куда-то класть, как-то везти. Она никогда не была на похоронах, не знала, как это делается, и потому думала только об этом.

— Мирон, ты пойдешь с девочками, — объявила мама.

— Завтра в девять, девочки, — сказал отец Артема. — Утром я схожу на завод и отпрошусь.

Эти дни Искра жила, не замечая ни времени, ни окружающих. Не могла ни читать, ни заниматься, и, если оказывалась без дела, бесцельно слонялась по комнате.

— Пора брать себя в руки. Искра, — сказала мать, наблюдая за нею.

— Конечно, — тут же бесцветно согласилась Искра.

Она не оглянулась, и мать, украдкой вздохнув, с неудовольствием покачала головой.

— В жизни будет много трагедий. Я знаю, что первая — всегда самая страшная, но надо готовиться жить, а не тренироваться страдать.

— Может быть, следует тренироваться жить?

— Не язви, я говорю серьезно. И пытаюсь понять тебя.

— Я очень загадочная?

— Искра!

— У меня имя — как выстрел, — горько усмехнулась дочь. — Прости мама, я больше не перебью.

Но мать уже была сбита неожиданными и так не похожими на Искру выпадами. Сдержалась, судорожным усилием заглушив волну раздражения, дважды прикурила горящую папиросу.

— Самоубийство — признак слабости, это известно тебе? Поэтому человечество исстари не уважает самоубийц.

— Даже Маяковского?

— Прекратить!

Мать по-мужски, с силой ударила кулаком по столу. Пепельница, пачка папирос, спички — все полетело на пол. Искра подняла, принесла веник, убрала пепел и окурок. Мать молчала.

— Прости, мама.

— Сядь. Ты, конечно, пойдешь на похороны и… и это правильно. Друзьям надо отдавать последний долг. Но я категорически запрещаю устраивать панихиду. Ты слышишь? Категорически!

— Я не очень понимаю, что такое панихида в данном случае. Вика успела умереть комсомол-

кой, при чем же здесь панихида?

— Искра, мы не хороним самоубийц за оградой кладбища, как это делали в старину. Но мы не поощряем слабовольных и слабонервных. Вот почему я настоятельно прошу… нет, требую, чтобы никаких речей и тому подобного. Или ты даешь мне слово, или я запру тебя в комнате и не пущу на похороны.

— Неужели ты сможешь сделать это, мама? — тихо спросила Искра.

— Да. — Мать твердо посмотрела ей в глаза. — Да, потому что мне небезразлично твое будущее.

— Мое будущее! — горько усмехнулась дочь. — Ах, мама, мама! Не ты ли учила меня, что лучшее будущее — это чистая совесть?

— Совесть перед обществом, а не…

Мать вдруг запнулась. Искра молча смотрела на нее, молча ждала, как закончится фраза, но пауза затягивалась. Мать потушила папиросу, обняла дочь, крепко прижала к груди.

— Ты единственное, что есть у меня, доченька. Единственное. Я плохая мать, но даже плохие матери мечтают о том, чтобы их дети были счастливы. Оставим этот разговор: ты умница, ты все поняла и… И иди спать. Иди, завтра у тебя очень тяжелый день.

Завтрашнего дня Искра боялась настолько, что долго не могла уснуть. Боялась не самих похорон: отец Артема и Андрей Иванович Коваленко сделали все, что требовалось, только не добились машины. Оформили документы, нашли место на кладбище, договорились обо всем, но машины так и не дали…

— Ладно, — сказал Артем. — Мы на руках ее понесем.

— Далеко, — вздохнула мама.

— Ничего. Нас много.

Нет, Искра боялась не самих похорон: она боялась первого свидания со смертью. Боялась мгновения, когда увидит мертвую Вику, боялась, что не выдержит этого, что упадет или — еще ужаснее — разрыдается. Разрыдается до крика, до воя, потому что этот крик, этот звериный вой глухо ворочался в ней все эти дни.

Утром за нею зашли Зиночка, Лена и Роза.

— Так надо, мама сказала, — строго пояснила Роза. — Вы девчонки еще сопливые, а там женщина нужна.

— Спасибо, Роза, — с облегчением вздохнула Искра. — Вот ты и командуй.

— К ним пошли. Ключи у тебя? Ну, к Люберецким, чего ты на меня смотришь? Надо же белье

взять, платьице понаряднее.

— Да, да. — Искра отдала ключи. — Знаешь, я об этом и не подумала.

— Я же говорю, здесь женщина нужна.

— У нее розовое есть, — сказала Зина. — Очень красивое платьице, я всегда завидовала.

Роза и девочки ушли к Люберецким. Искра побежала в школу: ее тревожило, что народу будет мало, а гроб придется нести от центра до окраины, и у ребят не хватит сил. Она собиралась поговорить с Николаем Григорьевичем, чтобы он разрешил пойти на похороны всему их классу, а не только ближайшим друзьям: несмотря на многозначительные слова Валентины Андроновны на том памятном собрании, никто пока директора от должности не освобождал. Уроки к тому времени должны были бы начаться, но во дворе школы народу было — не пробиться. Младшие бегали, орали, визжали, толкали девчонок; старшие стояли непривычно тихо, стихийно собравшись по классам.

— Что тут происходит?

— Школа закрыта! — с восторгом сообщил какой-то пятиклассник.

Искра начала пробиваться вперед, когда дверь распахнулась и на крыльцо вышли директор,

Валентина Андроновна и несколько преподавателей. Николай Григорьевич окинул глазами двор, поднял руку, и сразу стало тихо.

— Дети! — крикнул директор. — Сегодня не будет занятий. Младшие могут идти по домам, а старшие… Старшие проводят в последний путь своего товарища. Трагически погибшую ученицу девятого «Б» Викторию Люберецкую.

Не было ни криков, ни гомона: даже самые маленькие расходились чинно и неторопливо. А старшие не тронулись с места, и в тишине ясно слышался захлебывающийся шепот Валентины Андроновны:

— Вы ответите за это. Вы ответите за это.

Старшие классы и по улицам шли молча. Прохожие останавливались, долго глядели вслед странной процессии, впереди которой шли директор, математик Семен Исакович и несколько учительниц. У рынка Николай Григорьевич остановился:

— Девочки, купите цветов.

Он выгреб из карманов все деньги и отдал их девочкам из 10 «А». И математик достал деньги, и учительницы защелкали сумочками, и старшеклассники полезли в карманы, и все это — и директорская зарплата, и рубли преподавателей,

и мелочь на завтраки и кино, — все ссыпалось в новенькую модную кепку Сергея, которую он почему-то нес в руке.

Во двор морга пустили немногих, и остальные ждали у ворот, запрудив улицу. А во дворе толпился весь 9 «Б», но Искра сразу увидела Ландыса. У ног Жорки стоял обвязанный мешковиной куст шиповника с яркими ягодами, а сам Ландыс курил одну папиросу за другой, не замечая, что рядом остановился Николай Григорьевич. И все молчали. Молчал 9 «Б» у входа в морг, молчали старшеклассники на улице, молчали учительницы младших классов. А потом из морга вышел Андрей Иванович Коваленко и негромко сказал:

— Готово. Кто понесет.

— Мешок не забудьте, — сказал Жорка.

За ним шли Артем, Пашка, Валька, кто-то еще из их ребят и даже тихий Вовик Храмов. А Николай Григорьевич принял от Ландыса куст шиповника и снял кепку. И все повернулись лицом к входу и замерли.

И так длилось долго-долго, невыносимо долго, а потом из морга вынесли крышку гроба, а следом на плечах ребят медленно выплыла Вика Люберецкая и, чуть покачиваясь, проплыла по двору к воротам.

— Стойте! — крикнула Роза; она вышла вслед за гробом. — Невесту хороним. Невесту! Зина, возьми два букета. Дайте ей белые цветы.

Зина строго шла впереди, а за нею, за крышкой и гробом, что плыл выше всех, на всю длину улицы растянулась процессия. Странная процессия без оркестра и рыданий, без родных и родственников и почти без взрослых: они совсем потерялись среди своих учеников. Так прошли через город до окраинного кладбища. Ребята менялись на ходу, и лишь Жорка шел до конца, никому не уступив своего места у ног Вики, и возле могилы не мог снять с плеча гроб. К нему подскочил Пашка, помог.

Вика лежала спокойная, только очень белая — белее цветов. Начался мелкий осенний дождь, но все стояли не шевелясь, а Искра смотрела, как постепенно намокают и темнеют цветы, как стекает вода по мертвому лицу, и ей хотелось накрыть Вику, упрятать от дождя, от сырости, которая теперь навеки останется с нею.

— Товарищи! — вдруг очень громко сказал директор. — Парни и девчата, смотрите. Во все глаза смотрите на вашу подругу. Хорошо смотрите, чтобы запомнить. На всю жизнь запомнить, что убивает не только пуля, не только клинок

или осколок — убивает дурное слово и скверное дело, убивает равнодушие и казенщина, убивает трусость и подлость. Запомните это ребята, на всю жизнь запомните!..

Он странно всхлипнул и с размаху закрыл лицо ладонями, точно ударил себя по щекам. Учительницы подхватили его, повели в сторону, обняв за судорожно вздрагивающие плечи. И снова стало тихо. Лишь дождь шуршал.

— Зарывать, что ли? — ни к кому не обращаясь, сказал мужик с заступом.

Искра шагнула к гробу, вскинула голову:

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди…

Она звонко, на все кладбище кричала последние есенинские строчки. Слезы вместе с дождем текли по лицу, но она ничего не чувствовала. Кроме боли. Ноющей, высасывающей боли в сердце.

Рядом, обнявшись, плакали Лена и Зиночка. Рыдающую в голос Розу с двух сторон поддерживали отец и Петька, забыв о ссоре и торжественных проклятиях. Громко всхлипывал Вовик Храмов, тихий отличник, над которым беззлобно и посто-

янно потешался весь класс все восемь лет.

— Не уберег я тебя, девочка, — сдавленно сказал Коваленко. — Не уберег…

— Прощайтесь! — крикнула Роза, ладонями вытирая лицо. — Пора уж. Пора.

Подошла к гробу, встала на колени в жидкую скользкую грязь, погладила Вику по мокрым волосам, прижалась губами к высокому белому лбу.

— Спи.

А потом забили гвоздями крышку, гроб спустили в могилу, насыпали холм, и все стали расходиться. Только Ландыс с Артемом долго еще возились, сажая куст в изголовье. А девочки, Пашка и Валька терпеливо ждали у заваленной мокрыми цветами свежей могилы. И возвращались молча, но Зина уже не выдерживала этого молчания. Оно гнуло ее, пугало тем, что никак не кончается, становясь все нестерпимее и мучительнее.

— Грязные вы какие, — вздохнула она, оглядев Артема и Жорку. — Вас стирать и стирать.

Никто не ответил. Она поняла, что сказала не то, но молчать уже не было сил.

— Все ревели. Даже Вовик Храмов.

— Счастливый, — вдруг глухо произнес Ар-

тем. — Нам бы с Жоркой зареветь, куда как хорошо бы было.

И расстались молча, кивнув друг другу. Только Лена спросила:

— До завтра?

— Может быть, — сказала Искра.

Разошлись. И, уже подходя к дому, Искра вдруг вспомнила, что не видела сегодня Сашку Стаменскина. Ни у морга, ни на кладбище. Ей стало как-то не по себе, и она начала лихорадочно припоминать всех, все лица, твердя, что Сашка был там, был, не мог не быть. Но лицо его не всплывало ни возле гроба, ни поодаль — не всплывало нигде, и Искра поняла, что его действительно не было там, куда никого не приглашают.

— Тебе тут открытка с почты, — сказала любопытная соседка.

Это оказалось извещением на заказную бандероль. Почерк был знакомым, но чей он, Искра никак не могла вспомнить. Ей почему-то очень хотелось узнать этот легкий аккуратный почерк, очень хотелось, и она, не раздеваясь, прошла к себе за шкаф, напряженно размышляя, кто же мог прислать ей бандероль. Сзади хлопнула дверь. Искра знала, что вернулась мама, и не оглянулась.

— Встать!

Искра привычно вскочила. Мать с перекошенным, дергающимся лицом лихорадочно рвала ремень, которым была перетянута ее мокрая чоновская кожанка.

— Ты устроила панихиду на кладбище? Ты?..

— Мама…

— Молчать! Я предупреждала! — Ремень расстегнулся, конец его гибко скользнул на пол, пряжку мать крепко сжимала в кулаке.

— Мама, подожди…

Ремень взмыл в воздух. Сейчас он должен был опуститься на ее голову, грудь, лицо — куда попадет. Но Искра не закрылась, не тронулась с места. Только побледнела.

— Я очень люблю тебя, мама, но, если ты хоть раз, хоть один раз ударишь меня, я уйду навсегда.

Она сказала это тихо и спокойно, хотя ее всю трясло. Ремень хлестко ударил по полу рядом. Искра дрожащими руками зачем-то поправила старенькое мокрое пальтишко и села к столу. Спиной к матери.

Она смотрела на извещение, но уже ничего не понимала. Слышала, как упал на пол солдатский ремень, как мать прошла к себе, как тяжело скрипнул стул и чиркнула спичка. Слышала, и

ей было до боли жаль мать, но она уже не могла встать и броситься ей на шею. Она уже сделала шаг, сделала вдруг, не готовясь, но, сделав, поняла, что идти нужно до конца. До конца и не оглядываясь, как бы ни были болезненны первые шаги. И поэтому продолжала сидеть, незряче глядя на извещение о бандероли, написанное таким неуловимо знакомым почерком. За спиной опять скрипнул стул, раздались шаги, но Искра не шевельнулась. Мать подошла к шкафу, что-то искала, перекладывала.

— Переоденься. Все переодень — чулки, белье. Ты насквозь мокрая. Пожалуйста.

Искра вздрогнула от незнакомых нежных и усталых интонаций. Ей вдруг захотелось броситься к матери, обнять ее и заплакать. Зареветь, зарыдать отчаянно и беспомощно, как в детстве. Но она сдерживала себя и опять не обернулась.

— Хорошо.

Мать постояла, аккуратно положила белье на кровать и тихо ушла на свою половину. И снова чиркнула спичка.

Глава девятая

Искра так и не поняла, кто послал ей заказную бандероль, но смутное беспокойство не оставило ее и утром. Она долго разглядывала извещение, уже догадываясь, но со страхом отгоняла от себя догадку. А она росла помимо ее воли, и Искра решила сначала зайти на почту: она уже не могла ждать.

На аккуратной бандероли адрес был написан печатными буквами, а отправитель не указан вообще. По виду это были книги, и Искра, забыв о школе, бегом вернулась домой. Едва влетев в комнату, рванула упаковку и села, уронив на колени знакомый томик Есенина и книжку писателя с иностранной фамилией «Грин».

— Ах, Вика, Вика, — со взрослой горечью прошептала она. — Дорогая ты моя Вика…

Искра долго гладила книги дрожащими руками, боясь раскрыть и обнаружить надписи. Но надписей не было, только в Грине лежало письмо. На конверте ровным, теперь таким знакомым почерком было выведено: «Искре Поляковой. Лично». Искра отложила письмо, убрала обертку

бандероли, сняла пальтишко, прошла за свой стол, села, положила перед собой книги и лишь тогда вскрыла конверт.

«Дорогая Искра!

Когда ты будешь читать это письмо, мне уже не будет больно, не будет горько и не будет стыдно. Я бы никому на свете не стала объяснять, почему я делаю то, что сегодня сделаю, но тебе я должна объяснить все, потому что ты — мой самый большой и единственный друг. И еще потому, что я однажды солгала тебе, сказав, что не люблю, а на самом деле я тебя очень люблю и всегда любила, еще с третьего класса, и всегда завидовала самую чуточку. Папа сказал, что в тебе строгая честность, когда ты с Зиной пришла к нам в первый раз и мы пили чай и говорили о Маяковском. И я очень обрадовалась, что у меня есть теперь такая подружка, и стала гордиться нашей дружбой и мечтать. Ну да не надо об этом: мечты мои не сбылись.

А пишу я не для того, чтобы объясниться, а для того, чтобы объяснить. Меня вызывали к следователю, и я знаю, в чем именно обвиняют папу. А я ему верю и не могу от него отказаться и не откажусь никогда, потому что мой папа честный человек, он сам мне сказал, а раз так, то как же

я могу отказаться от него? И я все время об этом думаю — о вере в отцов — и твердо убеждена, что только так и надо жить. Если мы перестанем верить своим отцам, верить, что они честные люди, то мы очутимся в пустыне. Тогда ничего не будет, понимаешь, ничего. Пустота одна. Одна пустота останется, а мы сами перестанем быть людьми. Наверное, я плохо излагаю свои мысли, и ты, наверное, изложила бы их лучше, но я знаю одно: нельзя предавать отцов. Нельзя, иначе мы убьем сами себя, своих детей, свое будущее. Мы разорвем мир надвое, мы выроем пропасть между прошлым и настоящим, мы нарушим связь поколений, потому что нет на свете страшнее предательства, чем предательство своего отца.

Нет, я не струсила, Искра, что бы обо мне ни говорили, я не струсила. Я осталась комсомолкой и умираю комсомолкой, а поступаю так потому, что не могу отказаться от своего отца. Не могу и не хочу.

Уже понедельник, скоро начнется первый урок. А вчера я прощалась с вами и с Жоркой Ландысом, который давно был влюблен в меня, я это чувствовала. И поэтому поцеловалась в первый и последний раз в жизни. Сейчас упакую книги, отнесу их на почту и лягу спать. Я не спала ночь,

да и предыдущую тоже не спала, и, наверное, усну легко. А книжки эти — тебе на память. Надписывать не хочу.

А мы с тобой ни разу не поцеловались. Ни разу! И я сейчас целую тебя за все прошлое и будущее.

Прощай, моя единственная подружка!

Твоя Вика Люберецкая».

Последние строчки Искра читала как сквозь мутные стекла: слезы застилали глаза. Но она не плакала и не заплакала, дочитав. Медленно положила письмо на стол, бережно разгладила его и, уронив руки, долго сидела не шевелясь. Что-то надорвалось в ней, какая-то струна. И боль от этой лопнувшей струны была совсем взрослой — тоскливой и безнадежной. Она была старше самой Искры, эта новая ее боль.

А в школе шли обычные уроки, только в старших классах они проходили куда тише, чем обычно. И еще в 9 «Б» одна парта оказалась пустой: Искры в школе не было. Зиночка пересела на ее место, к Лене, и пустая парта Вики Люберецкой торчала как надгробие. Преподаватели сразу натыкались на нее взглядом, отводили глаза и Зину не тревожили. И вообще никого не тревожили: никто не вызывал к доске, никто не спрашивал уроков. А потом в коридоре раздались

грузные шаги, и в класс вошел Николай Григорьевич. Все встали.

— Простите, Татьяна Ивановна, — сказал он пожилой историчке. — Я попрощаться зашел.

Класс замер. Все сорок три пары глаз в упор смотрели на директора.

— Садитесь.

Сел один Вовик. Он был послушным и сначала исполнял, а потом соображал. Но соображал хорошо.

— Встань!

Вовик послушно вскочил. Николай Григорьевич грустно усмехнулся.

— Вот прощаться зашел. Ухожу. Совсем ухожу. — Он помолчал и улыбнулся. — Трудно расставаться с вами, черти вы полосатые, трудно! В каждый класс захожу, всем говорю: счастливо, мол, вам жить, хорошо, мол, вам учиться. А вам, девятый «Б», этого сказать мало.

Пожилая историчка вдруг громко всхлипнула. Замахала руками, полезла за платком:

— Извините, Николай Григорьевич. Извините, пожалуйста.

— Не расстраивайтесь, Татьяна Ивановна, были бы бойцы, а командиры всегда найдутся. А в этих бойцов я верю: они первый бой выдержали. Они

обстрелянные теперь парни и девчата, знают почем фунт лиха. — Он вскинул голову и громко, как перед эскадроном, крикнул: — Я верю в вас, слышите? Верю, что будете настоящими мужчинами и настоящими женщинами! Верю, потому что вы смена наша, второе поколение нашей великой революции! Помните об этом, ребята. Всегда помните!

Директор медленно, вглядываясь в каждое лицо, обвел глазами класс, коротко, по-военному кивнул и вышел. А класс еще долго стоял, глядя на закрытую дверь. И в полной тишине было слышно, как горестно всхлипывает старая учительница.

Трудный был день, очень трудный. Тянулся, точно цепляясь минутой за минуту, что-то тревожное висело в воздухе, сгущалось, оседая и накапливаясь в каждой душе. И взорвалось на последнем уроке.

— Коваленко, кто тебе разрешил пересесть?

— Я… — Зиночка встала. — Мне никто не разрешал. Я думала…

— Немедленно сядь на свое место!

— Валентина Андроновна, раз Искра все равно не пришла, я…

— Без разговоров, Коваленко. Разговаривать

будем, когда вас вызовут.

— Значит, все же будем разговаривать? — громко спросил Артем.

Он спросил для того, чтобы отвлечь Валентину Андроновну. Он вызывал гнев на себя, чтобы Зина успела опомниться.

— Что за реплики, Шефер? На минутку забыл об отметке по поведению?

Артем хотел ответить, но Валька дернул сзади за курточку, и он промолчал. Зина все еще стояла опустив голову.

— Что такое, Коваленко? Ты стала плохо слышать?

— Валентина Андроновна, пожалуйста, позвольте мне сидеть сегодня с Боковой, — умоляюще сказала Зина. — То парта Вики и…

— Ах, вот в чем дело? Оказывается, вы намереваетесь устроить памятник? Как трогательно! Только вы забыли, что это школа, где нет места хлюпикам и истеричкам. И марш за свою парту. Живо!

Зина резко выпрямилась. Лицо ее стало красным, губы дрожали.

— Не смейте… Не смейте говорить мне «ты». Никогда. Не смейте, слышите?… — И громко, отчаянно всхлипнув, выбежала из класса.

Артем собирался вскочить, но сзади опять придержали, и встал не он, а спокойный и миролюбивый Александров.

— А ведь вы не правы, Валентина Андроновна, — рассудительно начал он. — Конечно, Коваленко тоже не защищаю, но и вы тоже.

— Садись, Александров! — Учительница раздраженно махнула рукой и склонилась над журналом.

Валька продолжал стоять.

— Я, кажется, сказала, чтобы ты сел.

— А я еще до этого сказал, что вы не правы, — вздохнул Валька. — У нас Шефер, Остапчук да Ландыс уже усы бреют, а вы — будто мы дети. А мы не дети. Уж, пожалуйста, учтите это, что ли.

— Так. — Учительница захлопнула журнал, заставила себя улыбнуться и с этой напряженной улыбкой обвела глазами класс. — Уяснила. Кто еще считает себя взрослым?

Артем и Жорка встали сразу. А следом — вразнобой, подумав, — поднялся весь класс. Кроме Вовика Храмова, который продолжал дисциплинированно сидеть, поскольку не получил ясной команды. Сорок два ученика серьезно смотрели на учительницу, и, пока она размышляла, как поступить, поднялся и Вовик, и кто-то в задних

рядах не выдержал и рассмеялся.

— Понятно, — тихо сказала она. — Садитесь.

Класс дружно сел. Без обычного шушуканья и смешков, без острот и реплик, без как бы невзначай сброшенных на пол книг и добродушных взаимных тумаков. Валентина Андроновна торопливо раскрыла журнал, уставилась в него, не узнавая знакомых фамилий, но ясно слышала, как непривычно тихо сегодня в ее классе. То была дисциплина отрицания, тишина полного отстранения, и она с болью поняла это. Класс решительно обрывал все контакты со своей классной руководительницей, обрывал, не скандаля, не бунтуя, обрывал спокойно и холодно. Она стала чужой, чужой настолько, что ее даже перестали не любить. Надо было все продумать, найти верную линию поведения, но шевельнувшийся в ней нормальный человеческий страх перед одиночеством лишал ее такой возможности. Она тупо глядела в журнал, пытаясь собраться с мыслями, обрести былую уверенность и твердость и не обретала их. Молчание затягивалось, но в классе стояла мертвая тишина. «Мертвая!» Сейчас она не просто поняла — она ощутила это слово во всей его безнадежности.

— Мы сегодня почитаем, — сказала учительни-

ца, все еще не решаясь поднять глаз. — Сон Веры Павловны. Бокова, начинай…те. Можно сидя.

Зина в класс не вернулась, и портфель ей относили всей компанией. Набились в маленькую комнату, сидели на кровати, на стульях, а Пашка — на коврике, подобрав по-турецки ноги. И с торжеством рассказывали о победе над Валендрой — только Жорка с Артемом молчали. Артем потому, что смотрел на Зину, а Жорке не на кого было больше смотреть.

— «Бокова, начинай…те. Можно сидя»! — очень похоже передразнила Лена.

Зина отревелась в одиночестве и теперь улыбалась. Но улыбалась грустно.

— А Искра так и не пришла? Надо же сходить к ней! Немедленно и всем вместе. И уведем ее гулять.

Но Искру увели гулять еще до их появления. Она весь день то сидела истуканом, то металась по комнате, то перечитывала письмо, снова замирала и снова металась. А потом пришел Сашка.

— Я за тобой, — сказал он как ни в чем не бывало. — Я билеты в кино купил.

— Ты почему не был на кладбище?

— Не отпустили. Вот в кино и проверишь, мы всей бригадой идем. Свидетелей много.

Пока он говорил, Искра смотрела в упор. Но Сашка глаз не отвел, и, хотя ей очень не понравилось упоминание о свидетелях, ему хотелось поверить. И сразу стало как-то легче.

— Только в кино мы не пойдем.

— Понимаю. Может, погуляем? Дождя нет, погода на «ять».

— А вчера был дождь, — вздохнула Искра. — Цветы стали мокрыми и темнели на глазах.

— Черт дернул его с этим самолетом… Да одевайся же ты наконец!

— Саша, а ты точно знаешь, что он продал чертежи? — спросила Искра, послушно надевая пальтишко: иногда ей нравилось, когда ею командуют. Правда, редко.

— Точно, — со значением сказал он. — У нас на заводе все знают.

— Как страшно!.. Понимаешь, я у них пирожные ела. И шоколадные конфеты. И все конечно же на этот миллион.

— А ты как думала? Ну, кто, кто может позволить себе каждый день пирожные есть?

— Как страшно! — еще раз вздохнула Искра. — Куда пойдем? В парк?

В парке уже закрыли все аттракционы, забили ларьки, а скамейки были сдвинуты в кучку.

Листву здесь не убирали, и она печально шуршала под ногами. Искра подробно рассказывала о похоронах, о Ландысе и шиповнике, о директоре и его речи над гробом Вики. В этом месте Сашка неодобрительно покачал головой.

— Вот это он зря.

— Почему же зря?

— Хороший мужик. Жалко.

— Что жалко? Почему это — жалко?

— Снимут, — сказал Сашка категорически.

— Значит, по-твоему, надо молчать и беречь свое здоровье?

— Надо не лезть на рожон.

— «Не лезть на рожон!» — с горечью повторила Искра. — Сколько тебе лет, Стамескин? Сто?

— Дело не в том, сколько лет, а…

— Нет, в том! — резко крикнула Искра. — Как удобно, когда все вокруг старики! Все будут держаться за свои больные печенки, все будут стремиться лишь бы дожить, а о том, чтобы просто жить, никому в голову не придет. Не-ет, все тихонечко доживать будут, аккуратненько доживать, послушно: как бы чего не вышло. Так это все — не для нас! Мы — самая молодая страна в мире, и не смей становиться стариком никогда!

— Это тебе Люберецкий растолковал? — вдруг

тихо спросил Сашка. — Ну, тогда помалкивай, поняла?

— Ты еще и трус к тому же?

— К чему это — к тому же?

— Плюс ко всему.

Сашка натянуто рассмеялся:

— Это, знаешь, слова все. Вы языками возите, «а» плюс «б», а мы работаем. Руками вот этими самыми богатства стране создаем. Мы…

Искра вдруг повернулась и быстро пошла по аллее к выходу.

— Искра!..

Она не замедлила шага. Кажется, пошла еще быстрее — только косички подпрыгивали. Сашка нагнал, обнял сзади.

— Искорка, я пошутил. Я же дурака валяю, чтобы ты улыбнулась.

Он осторожно коснулся губами шапочки — Искра не шевельнулась, — поцеловал уже смелее, ища губами волосы, затылок, оголенную шею.

— Трус, говоришь, трус! Вот я и обиделся… Ты же все понимаешь, правда? Ты же у меня умная и… большая совсем. А мы все как дети. А мы большие уже, мы уже рабочий класс…

Он скользнул руками по ее пальтишку, коснулся груди, замер, осторожно сжал — Искра стояла

как истукан. Он осмелел, уже не просто прижимал руки к ее груди, а поглаживал, трогая.

— Вот и хорошо. Вот и правильно. Ты умная, ты…

В голове Искры гулко стучали кувалды, часто и глухо билось сердце. Но она собрала силы и сказала спокойно:

— Совсем как тогда, под лестницей. Только бежать мне теперь не к кому.

Неторопливо расцепила его руки, пошла не оглядываясь. И заплакала, лишь выйдя за ворота. Плакала от обиды и разочарования, плакала от боли, что столько дней носила в душе, плакала от одиночества, которое сознательно и бесповоротно избрала сама для себя, и не сумела справиться со слезами до самого подъезда. По привычке остановилась перед дверью, старательно вытерла лицо, попыталась обрести спокойствие или хотя бы изобразить улыбку, но ни спокойствие, ни улыбка не получились. Искра вздохнула и вошла в комнату.

Мама курила у стола, как всегда что-то ожесточенно подчеркивая в зачитанном томе Ленина, делала многочисленные закладки и выписывала целые абзацы. Искра тихо разделась, прошла в свой угол. Села за стол, раскрыла Есенина, но

даже Есенин плыл сейчас перед ее глазами. А вскоре она почувствовала, что сзади стоит мама. Повернулась вся, вместе со стулом.

Они долго смотрели друг другу в глаза. Глаза были одинаковыми. И взгляд их теперь тоже был одинаковым. Мама присела на кровать, сунула сложенные ладони между колен.

— Надо ходить в школу, Искра. Надо заниматься делом, иначе ты без толку вымотаешь себя.

— Надо. Завтра пойду.

Мать грустно покивала. Потом сказала:

— К горю трудно привыкнуть, я знаю. Нужно научиться расходоваться, чтобы хватило на всю жизнь.

— Значит, горя будет много?

— Если останешься такой, как сейчас, — а я убеждена, что останешься, — горя будет достаточно. Есть натуры, которые впитывают горе обильнее, чем радость, а ты из их числа. Надо думать о будущем.

— О будущем, — вздохнула дочь. — Какое оно, это будущее, мама?

На другой день Искра пошла в школу. Заканчивалась первая четверть — длинная и тягостная, будто четверть века. Проставляли оценки, часто вызывали к доске, проверяли контрольные и со-

чинения. И все вроде бы шло как обычно, только не было в школе директора Николая Григорьевича Ромахина, а Валентина Андроновна стала официально-холодной, подчеркнуто говорила всем «вы» и уж очень скупилась на «отлично». Даже Искре не без удовольствия закатила «посредственно».

— Если хотите, можете ответить еще раз.

— Не хочу, — сказала Искра, хотя до сей поры ни разу не получала таких оценок.

Через несколько дней после этого разговора вернулся Николай Григорьевич. Занял привычный кабинет, но в кабинете том было теперь тихо. Спевки кончились, и директор унес личный баян.

С этим баяном его встретил на улице Валька. Молча отобрал баян, пошел рядом.

— Значит, вернули вас, Николай Григорьевич?

— Вернули, — угрюмо ответил директор. — Сперва освободили, а потом вызвали и вернули.

Он и сам не знал, почему его оставили. Не знал и не узнал никогда, что тихий Андрей Иванович Коваленко неделю ходил из учреждения в учреждение, из кабинета в кабинет, терпеливо ожидая приемов, высиживая в очередях и всюду доказывая одно:

— Ромахина увольнять нельзя. Нельзя, товарищи! Если и вы откажете, я дальше пойду. Я в Москву, в Наркомпрос, я до ЦК дойду.

В каком-то из кабинетов поняли, вызвали Ромахина, расспросили, предупредили и вернули на старую должность. Николай Григорьевич вновь принял школу, но спевок больше не устраивал. И Валька отнес домой его потрепанный баян.

А парту Вики Артем и Ландыс передвинули в дальний угол класса, к стене, и теперь за ней никто не сидел. Ходили на могилу, посадили цветы, обложили дерном холмик. Сашка Стамескин, никому ничего не сказав, привез ограду, сваренную на заводе, а Жорка выкрасил эту ограду в самую веселую голубую краску, какую только смог разыскать.

Потом пришли праздники. Седьмого ноября ходили на демонстрацию. Весь город был на улицах, гремели оркестры и песни, и они тоже пели до восторга и хрипоты:

Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор!..

— А Вики больше нет, — сказала Зина, когда они отгорланили эту песню. — Совсем нет. А мы

есть. Ходим, смеемся, поем. «А вместо сердца — пламенный мотор!..» Может, у нас и вправду вместо сердца — пламенный мотор?

Проходили мимо трибун, громко и радостно кричали «ура», размахивая плакатами, лозунгами, портретами вождей. А потом колонны перемешались, демонстранты стали расходиться, песни замолкать, и только их школьная колонна продолжала петь и идти дружно, хотя и не в ногу. Вскоре к ним пристали отбившиеся от своих Петр и Роза, а когда отошли от гремящей криками и маршами площади, Искра сказала:

— Ребята, а ведь Николая Григорьевича не было с нами.

— Зайдем? — предложил Валька. — Он недалеко живет, я ему баян относил.

Пошли все. Дверь открыла невеселая пожилая женщина. Молча смотрела строгими глазами.

— Мы к Николаю Григорьевичу, — сказала Искра. — Мы хотим поздравить его с праздником.

— Проходите, если пришли.

Не было в этом «проходите» приглашения, но они все же разделись. Ребята пригладили вихры, девочки оправили платья, Искра придирчиво оглядела каждого, и они вошли в небольшую комнату, скупо обставленную случайной мебе-

лью. В углу на тумбочке стоял знакомый баян, а за столом сидел Николай Григорьевич в привычной гимнастерке, стянутой кавалерийской портупеей.

— Вы зачем сюда?

Они замялись, усиленно изучая крашеный пол и искоса поглядывая на Искру. Женщина молча остановилась в дверях.

— Мы пришли поздравить вас, Николай Григорьевич, с великим праздником Октября.

— А-а. Спасибо. Садитесь, коли пришли. Маша, поставь самовар.

Женщина вышла. Они кое-как расселись на стульях и старом клеенчатом диване.

— Ну, как демонстрация?

— Хорошо.

— Весело?

— Весело.

Николай Григорьевич спрашивал, не отрывая глаз от скатерти, и отвечала ему одна Искра. А он упорно смотрел в стол.

— Это хорошо. Хорошо. И правильно.

— Песни пели, — со значением сказала Искра.

— Песни — это хорошо. Песня дух поднимает.

Замолчал. И все молчали, и всем было неуютно и отчего-то стыдно.

— А почему вы не были с нами? — спросила Зина, не выдержав молчания.

— Я? Так. Занемог немножко.

— А врач у вас был? — забеспокоилась Лена. — И почему вы не лежите в постели, если вы больны?

Директор упорно молчал, глядя в стол.

— Вы не больны, — тихо сказала Искра. — Вы… Почему вы больше не поете? Почему вы баян домой унесли?

— Из партии меня исключили, ребятки, — глухо, дрогнувшим голосом произнес Николай Григорьевич. — Из партии моей, родной партии…

Челюсть у него запрыгала, а правая рука судорожно тискала грудь, комкая гимнастерку. Ребята растерянно молчали.

— Неправда! — резко сказала от дверей пожилая женщина. — Тебя исключила первичная организация, а я была в горкоме у товарища Поляковой, и она обещала разобраться. Я же говорила тебе, говорила! И не смей распускаться, не смей, слышишь?

Но Николай Григорьевич ничего не слышал. Он глядел в одну точку напряженным взглядом, рукой по-прежнему комкая гимнастерку. Искра

перегнулась через стол, отвела эту руку, сжала.

— Николай Григорьевич, посмотрите на меня. Посмотрите.

Он поднял голову. Глаза были полны слез.

— «Мы — красные кавалеристы, и про нас, — вдруг тихо запела Искра, — былинники речистые…»

— «О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные…»

Песню подхватили все дружно, в полный голос. Роза вскочила, отмахивая такт рукой и пристукивая каблучком. И все почему-то встали, словно это был гимн. А Петр взял с тумбочки баян и поставил его на стол перед Николаем Григорьевичем.

— «Веди ж, Буденный, нас смелее в бой!»

Искра пела громко и яростно, высоко подняв голову и не смахивая слез, что бежали по щекам. И все пели громко и яростно, и, подчиняясь этому яростному напору, встал Николай Григорьевич Ромахин, бывший командир эскадрона Первой Конной. И взял баян.

— «И вся-то наша жизнь есть борьба!..»

Много они тогда перепели песен под аккомпанемент старого баяна. Пили чай и засиделись допоздна, и матери дома их ругали извергами. А они были горды и довольны собой, как никогда,

и долго потом вспоминали этот праздничный день.

Но праздники кончились, и опять потянулась нормальная школьная жизнь. Все входило в свою колею, и снова Артем мыкался у доски, снова что-то ненужное изобретал Валька, снова шептался со всем классом Жорка. Пашка до седьмого пота вертелся на турнике, а тихий Вовик читал на переменах затрепанные романы. Снова Лена гуляла с Ментиком и Пашкой, Зина, остепенившись, встречалась с Артемом и очень подружилась с Розой, и только Искре некуда было ходить по вечерам. Она читала дома, и напрасно Сашка писал отчаянные письма.

Все входило в свою колею. Николая Григорьевича из партии не исключили, но улыбаться он так и не начал и из кабинета выходил редко. А вот Валентина Андроновна, наоборот, стала изредка улыбаться классу, и кое-кто из класса — менее заметные, правда, — стали улыбаться ей, и та вежливость, которую с таким единодушием потребовал однажды 9 «Б», постепенно становилась вежливостью формальной. Валентина Андроновна все чаще оговаривалась, сбивалась на привычное «ты», а если с некоторыми и не оговаривалась, то обозначала свое особое отно-

шение особыми улыбками. Все входило в свою колею и должно было в конце концов войти. Все было естественно и нормально.

Только в конце ноября в 9 «Б» ворвался красавец Юра из 10 «А». Ворвался, оставив распахнутой дверь и не обратив внимания на доброго Семена Исааковича, обвел расширенными глазами изумленный класс и отчаянно выкрикнул:

— Леонид Сергеевич вернулся домой!..

Все молчали. Искра медленно начала вставать, когда закричал Жорка Ландыс. Он кричал дико, громко, на одной ноте и изо всех сил бил кулаками по парте. Артем хватал его за руки, за плечи, а Жорка вырывался и кричал. Все повскакали с мест, о чем-то кричали, расспрашивали Юрку, плакали, и никто уже не обращал внимания на старого учителя. А математик сидел за столом, качал лысой головой, вытирал слезы большим носовым платком и горестно шептал:

— Боже мой! Боже мой! Боже мой!

Ландыса кое-как успокоили. Он сидел за партой, стуча зубами, и машинально растирал разбитые в кровь кулаки. Лена что-то говорила ему, а Пашка стоял рядом, держа обеими руками железную кружку с водой. С ручки свисала цепочка. Пашка оторвал кружку от бачка в коридоре.

— Тихо! — вдруг крикнул Артем, хотя шум уже стих, только плакали да шептались. — Пошли. Мы должны быть настоящими. Настоящими, слышите?

— Куда? — шепотом спросила Зина, прекрасно понимая, о чем сказал Артем: просто ей стало очень страшно.

— К нему. К Леониду Сергеевичу Люберецкому.

Сколько раз они приближались к этому дому с замершими навеки шторами! Сколько раз им приходилось собирать всю свою волю для последнего шага, сколько раз они беспомощно топтались перед дверью, бессознательно уступая первенство Искре! Но сегодня первым шел Артем, а перед дверью остановилась Искра.

— Стойте! Нам нельзя идти. Мы даже не знаем, где тетя Вики. Что мы скажем, если он спросит?

— Вот это и скажем, — обронил Артем и нажал кнопку звонка.

— Ну, Артем, ты железный, — вздохнул Пашка.

Никто не открыл дверь, никто не отозвался, и Артем не стал еще раз звонить. Вошел в дом, и все пошли следом. Шторы были опущены, и поэтому они не сразу заметили Люберецкого. Он сидел в столовой, ссутулившись, положив перед собой крепко сцепленные руки. Когда они вразнобой

поздоровались с ним, он поднял голову, обвел их напряженным, припоминающим взглядом, задержался на Искре, кивнул. И опять уставился мимо них, в пространство.

— Мы друзья Вики, — тихо сказала Искра, с трудом выговорив имя.

Он коротко кивнул, но, кажется, не расслышал или не понял. Искра с отчаянием посмотрела на ребят.

— Мы хотели рассказать. Мы до последнего дня были вместе. А в воскресенье ездили в Сосновку.

Нет, он их не слышал. Он слушал себя, родные голоса, звучащие в нем, свои воспоминания, какие-то отрывочные фразы, отдельные слова, которые теперь помнил только он один. И ребята совсем не мешали ему: наоборот, он испытывал теплое чувство оттого, что они не забыли его Вику, что пришли, что готовы что-то рассказать. Но сегодня ему не нужны были их рассказы: ему пока хватало той Вики, которую он знал.

А ребятам стало не по себе, словно они проявили какую-то чудовищную бестактность и теперь хозяин лишь из вежливости терпит их присутствие. Им хотелось уйти, но уйти вот так, вдруг, ничего не рассказав и ничего не услышав, было невозможно, и они только растерянно перегля-

дывались.

— Вы были на кладбище? — спросил Артем.

Он спросил резко, и Искру покоробило от его несдержанности. Но именно этот тон вывел Леонида Сергеевича из странной прострации.

— Да. Ограда голубая. Цветы. Куст хороший. Птицы склюют.

— Склюют, — подтвердил Жорка и снова принялся тереть свои распухшие кулаки.

Голос у Люберецкого был сдавленным и бесцветным, говорил он отрывисто и, сказав, вновь тяжело замолчал.

— Уходить надо, — шепнул Валька. — Мешаем.

Артем зло глянул на него, глубоко вздохнул и решительно шагнул к Люберецкому. Положил руку ему на плечо, встряхнул:

— Послушайте, это… нельзя так! Нельзя! Вика вас другим любила. И это… мы тоже. Нельзя так.

— Что? — Люберецкий медленно огляделся. — Да, все не так. Все не так.

— Не так?

Артем в сумраке столовой прошел к зашторенным окнам, нашел шнуры, потянул. Шторы разъехались, свет рванулся в комнату, а Артем оглянулся на Люберецкого.

— Идите сюда, Леонид Сергеевич.

Люберецкий не шевельнулся.

— Идите, говорю! Пашка, помоги ему.

Но Люберецкий встал сам. Шаркая, прошел к окну.

— Смотрите. Все бы здесь и не уместились.

За окном под тяжелым мокрым снегом стоял 9 «Б». Стоял неподвижно, весь белый от хлопьев, и только Вовик Храмов топтался на месте: видно, ноги мерзли. У него всегда были дырявые ботинки, у этого тихого отличника. А чуть в стороне, подле занесенной снегом скамьи, стояли два представителя 10 «А», и Серега почему-то держал в руках свою модную кепку-шестиклинку.

— Милые вы мои, — дрогнувшим, совсем иным голосом сказал Люберецкий. — Милые мои ребятки… — Он глянул на Искру остро, как прежде. — Они же замерзли! Позовите их, Искра.

Искра радостно бросилась к дверям.

— Я чай поставлю! — крикнула Зина. — Можно?

— Поставьте, Зиночка.

Он, не отрываясь, смотрел, как тщательно отряхивают друг друга ребята, как один за другим входят в квартиру. В глазах его были слезы.

До чая Искра и Ландыс увели Леонида Сергеевича в комнату Вики, о чем-то долго говорили с ним.

А Лена собрала все ребячьи деньги в кепку-шестиклинку, и они с Пашкой сбегали в кондитерскую. И когда Зина позвала всех к чаю, на столе стояли знакомые пирожные: Лена старательно резала каждое на три части.

За чаем вспоминали о Вике. Вспоминали живую — с первого класса — и говорили, перебивая друг друга, дополняя и досказывая. Люберецкий молчал, но слушал жадно, ловя каждое слово. И вздохнул:

— Какой тяжелый год!

Все примолкли. А Зиночка сказала, как всегда, невпопад:

— Знаете почему? Потому что високосный. Следующий будет счастливым, вот увидите!

Следующим был тысяча девятьсот сорок первый.

Эпилог

Через сорок лет я трясся в поезде, мчавшемся в родной город. Внизу со свистом храпел Валька Александров, а будить его не имело смысла: Валька горел в танке и спалил не только уши, но и собственную глотку. Впрочем, профессия у него молчаливая: вот уж сколько лет часы ремонтирует. Эх, Эдисон, Эдисон! Это мы его в школе Эдисоном звали, и Искра считала, что он станет великим изобретателем…

Искра. Искра Полякова, атаман в юбке, староста 9 «Б», героиня подполья, живая легенда, с которой я учился, спорил, ходил на каток, которую преданно ждал у подъезда, когда с горизонта исчез Сашка Стамескин, первая любовь Искры. И последняя: у Искры не могло быть ничего второго. Ни любви, ни школьных отметок, ни места в жизни. Только погибнуть ей выпало не первой из нашего класса: первым погиб Артем.

Тут я не выдержал Валькиных завываний и сполз на пол. В темноте натянул брюки и выскользнул в грохочущий коридор купейного вагона. Было что-то около четырех, но у окна

маячила грузная фигура.

— Не спишь, литраб?

Пашка Остапчук. В школе за ним остроумия не водилось: он умел ловко вертеть на турнике «солнце» да преданно любить Леночку Бокову. Война отняла у Пашки ногу и спорт, и к Леночке он не вернулся, хотя она ждала его до Победы, а Пашку ранило на Днепре.

— Свидание с юностью через сорок лет: и хочется, и колется, и поезд наш ушел. Потому и не спится, верно, литраб? А тут еще Эдисон рычит, как самосвал.

Пашку лихорадило от предстоящей встречи с городом, школой и Леной. Поскрипывая протезом, он метался по коридору и говорил. Про Днепр и 9 «Б», про Лену, к которой так и не нашел мужества вернуться инвалидом, и про санитарку из госпиталя, что пригрела, утешила, а потом и детей ему нарожала. Он словно уговаривал себя, что верная жена его нисколько не хуже той юной, мечтавшей о сцене девочки, которая назло Пашке вышла в сорок шестом замуж, а через пять лет овдовела. Как раз в тот год мы приехали на открытие мемориальной доски в школе: так уж получилось, что с войны мы не вернулись в родной город. Я жил в Москве, Остапчук с Алек-

сандровым по иным местам, и из всех парней нашего класса в родном городе остался только Сашка Стамескин. Виноват, Александр Авдеевич Стамескин, директор крупнейшего авиазавода, лауреат, депутат и прочая и прочая. Павел болтал про фронт вперемежку со спортом. Александров хрипел, свистел и рычал, а я вспоминал город, знакомых, наш класс, и нашу школу, и нашего директора Николая Григорьевича Ромахина, чьей связной в подполье была Искра. В тот единственный раз, когда мы, уцелевшие, по личной просьбе директора приехали на открытие, он сам зачитывал имена погибших перед замершим строем выживших.

— Девятый «Б», — сказал он, и голос его сорвался, изменил ему, и дальше Николай Григорьевич кричал фамилии, все усиливая и усиливая крик. — Герой Советского Союза летчик-истребитель Георгий Ландыс. Жора Ландыс. Марки собирал. Артем… Артем Шефер. Из школы его выгнали за принципиальность, и он доказал ее, принципиальность свою, доказал! Когда провод перебило, он сам себя взорвал вместе с мостом. Просторная у него могила, у Артема нашего!.. Владимир Храмов, Вовик, отличник наш, тихий самый. Его даже в переменки и не видно было

и не слышно. На Кубани лег возле сорокапятки своей. Ни шагу назад не сделал. Ни шагу!.. Искра… По… По…

Он так и не смог выговорить фамилии своей связной, губы запрыгали и побелели. Женщины бросились к нему, стали усаживать, поить водой. Он сесть отказался, а воду выпил, и мы слышали, как стучали о стекло его зубы. Потом он вытер слезы и тихо сказал:

— Жалко что? Жалко, команды у нас нет, чтоб на коленях слушали.

Мы без всякой команды стали на колени. Весь зал — бывшие ученики, сегодняшние школьники и учителя, инвалиды, вдовы, сироты, одинокие — все как один. И Николай Григорьевич начал почти шепотом.

— Искра, Искра Полякова, Искорка наша. А как маму ее звали, не знаю, а только гестаповцы ее на два часа раньше доченьки повесили. Так и висели рядышком — Искра Полякова и товарищ Полякова, мать и дочь. — Он помолчал, горестно качал головой и вдруг, шагнув, поднял кулак и крикнул на весь зал: — А подполье жило! Жило и било гадов! И мстило за Искорку и маму ее, жестоко мстило!

Его било и трясло, и не знаю, что случилось бы

тогда с нашим Ромахиным, если бы не Зина. И, постарев, она не повзрослела: шагнула вдруг к нему, взяв за руки своих взрослых сыновей:

— А это — мои ребята, Николай Григорьевич. Старший — Артем, а младший — Жорка. Правда, похожи на тех, на наших?

Бывший директор обнял ее парней, склоняя к себе их головы, и прошептал:

— Как две капли воды…

Через полгода, в начале пятьдесят второго, Николай Григорьевич умер. Я был в командировке, на похороны не попал и больше не ездил на школьные сборы. Павел тоже, а Валентин ездил. Нечасто, правда, раз в два-три года. Встречался с теми, кто уцелел на фронте или выжил в оккупации, ходил в гости, гонял чаи с доживающими свой невеселый век мамами и стареющими одноклассницами, смотрел бесконечные альбомы, слушал рассказы и всем чинил часы. И самое точное время в городе было у бывших учеников когда-то горестно знаменитого 9 «Б».

Самое точное.

1984